



Ольга Птицева

Брат  
БОЛОТНОГО  
КРАЯ

Хроники болотного края

Ольга Птицева

**Брат болотного края**

«Popcorn books»

2019

УДК 821.161.1  
ББК 84(2)6

**Птицева О.**

Брат болотного края / О. Птицева — «Popcorn books»,  
2019 — (Хроники болотного края)

ISBN 978-5-6048365-0-7

«Брат болотного края» — история патриархальной семьи, живущей в чаще дремучего леса. Славянский фольклор сплетается с современностью и судьбами людей, не знающими ни любви, ни покоя. Кто таится в непроходимом бору? Что прячется в болотной топи? Чей сон хранят воды озера? Людское горе пробуждает к жизни тварей злобных и безжалостных, безумие идет по следам того, кто осмелится ступить на их земли. Но нет страшнее зверя, чем человек. Человек, позабывший, кто он на самом деле.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2)6

ISBN 978-5-6048365-0-7

© Птицева О., 2019  
© Popcorn books, 2019

## Содержание

Слуги Бобура	6
Олеся	6
Поляша	10
Олег	12
Олеся	16
Поляша	23
Олеся	30
Волчий потрох	34
Демьян	34
Поляша	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

# Ольга Птицева

## Брат болотного края

© Ольга Птицева, 2019

© Издание, оформление. Porcorn Books, 2023

Cover art by © Corey Brickley, 2023

*Не ходи далеко. Не ходи один.*

*Дома ты, леса сын.*



## Слуги Бобура

### Олеся

Медуница. Сладкое, тягучее слово. Греет губы, ласкает язык. Медуница. Не быть в чужой власти тому, кто приручил ее, пригрел на груди. Леся оттянула тесемку, поймала гранью оберега луч, бьющий сквозь листву, и в прозрачной глубине вспыхнули синеватым огнем застывшие лепестки. Медовые, живые, могучие. Так сказал идущий позади. И голос его срывался, и влажные пальцы дрожали, и глаза блестели от еще не пролитого, пока не прожитого, но грядущего.

– Вот, не снимай... Там медуница, она... – сказал Лежка, а Леся тут же поняла.

Если что и спасет путника от беды в глухой чащобе, так вот оно – повисло на шее, принесенное в дар, незаслуженный, а значит, бесценный.

Потом они говорили что-то еще, сбивались, ежились, кто-то звал идти, что-то держало на месте, покачивалось на краю, время утекало, и Леся отвернулась, поспешила на зов. А когда за спиной вдруг зазвенело, оберег налился живительным теплом, и стало легче. Дышать, идти, не бояться, не размышлять, позволяя лесу принять себя. Ведь позади шел Лежка. Со всей своей немыслимой, нездешней красотой. Забрал тяжелый мешок, легко вскинул его на плечо, улыбнулся мельком, бледный от решимости, и зашептал чуть слышно на ходу:

– Лес мой господин, не оставь в беде, не пусти по следу тварь болотную, не дай пробудиться мертвому, не дай заснуть живому...

Мертвая, что и не думала спать, прорываясь сквозь заросли орешника, остановилась, глянула через плечо, выпачканные в грязи губы злобно растянулись.

– Ты зачем нам, мальчик? – просипела она. – Возвращайся в дом. Род твой обескровлен совсем, хоть сам не губись...

За орешником сгущалась темень, лучи вязли в переплетении веток, воздух становился зябким и влажным. От земли по босым ногам поднимался холод. Леся обхватила себя за плечи, вдохнула глубоко аромат хвои, влаги и мха. И сразу потеплело. Перестали колотиться сухие ветки, отогрелись заледеневшие пальцы, разлилась по телу неожиданная сила. Хоть бери да иди, знать бы только куда, – но та, что обещалась провести, скользнула мимо Леси, встала перед Лежкой, уперлась ладонью ему в грудь.

– Не пушу! – зашипела она. – Слышишь меня? Не нужен ты нам. Лес тебя не слышит, или не понял еще? Сгинешь здесь в первую ночь и нас за собой потянешь!

Лежка смотрел на ее бледную, синеватую руку и сам стремительно бледнел. Но возвращаться не собирался.

– Я пойду, с ней пойду, не с тобой, – бормотал он. – Поняла? Не с тобой.

– А ей ты на что? – Мертвая оскалила острые зубы. – Я ее прочь из леса веду, таков уговор.

– И хорошо... Вот проводим, я домой вернусь. А одну с тобой... Не пушу. – Обхватил скользкое запястье, сбросил с себя. – Пойдем уже, скоро хватятся.

Дом и правда виднелся еще сквозь густую лещину. Ветер нес его запах – страха, крови, печали и звериного тела, безжалостного в своей злобе. Но мертвая будто не чуяла, не страшилась того. Изорванный саван плохо скрывал наготу и тлен, но она выпрямила спину, посмотрела властно, не терпя возражений.

– Я все еще тетка твоя, Олег. Я и приказать могу.

Лежка поднял на нее глаза. Светлые-светлые, как холодный ручей. В них блеснуло влажно и горестно.

– Тетку мою звали Поляшей, умерла она много весен назад. А ты тварь болотная, мне не указ. – Сошел с тропы, обогнул мертвую, застывшую от его слов, кивнул Лесе. – Холодно тут, обулась бы. Простынешь.

Леся послушно приняла стоптанные ботинки, слишком большие для нее, но крепкие, влезла в линялые шаровары с рубахой, укуталась в шерстяное полотно, колючее, помнящее тепло, с которым вязали его.

– Спасибо.

Пока она одевалась, Лежка упрямо смотрел в сторону, только шея покраснела от смущения. Мертвая тетка поглядывала на него, но молча, злость расходилась от нее душными волнами, Леся ощущала ее кожей, как липкий пот в разгар зноя.

В густом киселе памяти мелькнул автобус – скрипучая развалюха, выкрашенная в красный, широкие окна, снятая крышка на раскаленном двигателе, прожженные сигаретами сиденья, по два в ряд. Народу набилось так, что не хватает поручней, чтобы держаться на поворотах. Толстая тетка в цветастом сарафане потеряла равновесие и начала крениться в сторону. А там Леся. Она уступила место старушке в соломенной шляпке, и та теперь сидела рядом с Лесиной бабушкой, о чем-то беседуя, склоняя слишком тонкую для ее головы шею. А тетка все кренилась, уже почти падала. Леся обдало жаром изможденного тела, всей этой потеющей массой, залежами, накопленными за сорок лет несчастливой сидячей жизни. Автобус дернулся и затормозил у остановки. Кондуктор скрипуче объявил название. Какое-то слово и номер. Лесина бабушка оборвала беседу, одной рукой подхватила сумку и пузатый пакет, второй – Леся и потащила ее к выходу, расталкивая потных, грузных и измученных. И злость их расходилась волнами, пахла кислыми складками немытого тела, липла к коже, как пропотевшая ткань цветастого сарафана.

– Леся, – позвал ее кто-то, прорываясь через толщу киселя. – Леся! – Она открыла глаза.

Вместо раскаленного нутра автобуса перед ней раскинулся лес, могучий и живой, вместо бабушки с лицом человека, застрявшего посреди океана горести, – Лежка, красивый до невозможности.

– Я здесь, я вернулась, – сами собой пробормотали губы, а Лесе осталось только слабо улыбнуться ими.

– Если не поспешим, все здесь и останемся.

Мертвая рывком сорвалась с места и ринулась по тропинке между раскидистыми кустами, на землю упали недозрелые орешки – зеленые еще, с пушистыми бочками. Лежка подхватил один, сжал в кулаке.

– Пойдем, – позвал он Леся.

И она пошла.

...Из лощины они выбрались, когда солнце перекаатилось с зенита – разлилось щедрым потоком по низинам, напекло макушки осин и поспешило скрыться за пышными, будто сбитый белок, облаками. Путь по узкой заросшей тропинке, звериной скорее, чем человеческой, давался тяжело.

– Хороши лесовые, нечего сказать, – ворчала мертвая. – От бурьяна тропки не чищены, вон ветками все завалено, ничейная земля!

– Некогда нам было, – пытался оправдаться Лежка, обгоняя ее, чтобы убрать с пути засохшую корягу.

– Некогда-некогда, видать, много сил нужно, чтобы кровь свою болоту отдать... – не унималась названная Поляшей.

– Зря ты так... Без Батюшки мы... Давно без Батюшки.

– Будто он от бурелома дороги мел!..

Но Леся их не слушала. С каждым шагом она будто отделялась от тела и пути, по которому упорно шла. Первыми исчезли ощущения: солнце больше не пекло макушку, пульс не

вторился в пережатых руках и отхлестанных щеках, не натирала в грубых швах чужие ботинки. Потом исказились мысли. Вот Леся прислушивалась к бессмысленной брани идущих впереди нее; вот приглядывалась к той, что никак не получалось назвать Поляшей, ведь на деле она была мертвой; вот до одури боялась ее; вот до смешного надеялась еще, что все это глупость, неудачная шутка; вот размышляла, а не сходит ли с ума сотрясенный ее мозг, пусть Глаша и вылечила рану, но, может, внутри та успела натворить дел, потому так смутно все, так невыносимо. Чем не решение всех бед? Чем не объяснение?

Но подумать об этом как следует Леся не успела. Сделала шаг и ухнула в вязкое небытие. Померкли звуки, потемнело, замылилось все. Они только вышли из зарослей лощины, только огляделись – кругом темнели сосны, мягким ковром расплзся под ногами влажный мох, а земля стала рыхлой, готовой обвалиться за край оврага, по которому нужно еще было пройти, осторожно и тихо. Секунду назад все было – и вдруг перестало существовать. Осталось далеко-далеко.

Леся осела на мох, вцепилась в него ослабевшими пальцами. Хотелось вдохнуть, но воздух застревал в перехваченном горле. Мягкое тело кулем завалилось набок. Не осталось ничего, одна только боль. Она вспыхнула в бедре – острая игла, и еще одна, и еще. Рана болотная. Рана из сна. Все существо Леси сжалось в крохотную точку, в которую впилося раскаленное острие.

Где-то далеко вскрикнул Лежка, бросил на землю мешок, упал перед Лесей на колени, схватил за плечи, встряхнул. Где-то еще дальше оборвалась на полуслове мертвая. Но ближе, куда ближе обжигала холодом боль. Она ворочалась в ране, вгрызалась в кость, пронзала плоть, травила ее ядом и гнилью. Леся устремилась к боли, обвила ее, заперла в себе, отчего-то ей было важно не выпустить этот затхлый холод наружу.

– Тише-тише, – зашептала она боли. – Ты во мне, хватит-хватит пока, не рвись, во мне ты, во мне...

Боль всколыхнулась, вязкая, как кисель, мерзлая, как старое болото. Но послушалась. Позволила отгеснить себя вглубь, в самое нутро. Принялась травить, прожигать все, что живо там, тепло и беззащитно.

И мир начал возвращаться. Леся почувствовала, что лежит на влажном мхе, шаль набралась его влаги и стала тяжелой. В руку впилась острая веточка, поясницу свело холодом, а рубаха прилипла к вспотевшей спине. Боль же стихла, затаилась в ране, только по штанине разлилось жирное пятно, и пахло от него болотной жижей.

– Леся!.. – все звал и звал ее Лежка, тряс за плечо, испуганный и несчастный.

В мыслях мелькнуло, мол, надо же, лесной человек, а не чувствует, не видит ничего. Не понимает, что поздно бояться, все уже свершилось – гниль проникла в рану, и не будет спасения. Нет, не будет. Забери свою медуницу, мальчик, не трать последнюю силу рода на обреченную сгнить изнутри – это кто-то другой, уставший от собственной мудрости, говорил в Лесе, а сама она уже начала плакать.

– Больно... – зашло внутри рыданиями. – Больно!

– Где? Где? – всполошился Лежка, начал ощупывать ее, не ушиблась ли, не поранилась.

Мертвая подошла к ним неслышно. Втянула воздух носом, ноздри затрепетали, искривился рот, наклонилась над Лесей.

– Где гнильцу подхватила?

И закружились в танце сестры, и зашумел лес, то ли приснившийся, то ли почудившийся Лесе.

– Не ври только, – остерегла мертвая. – Где?

– В лесу, – ответила и не соврала.

Мертвая помолчала, кивнула, мол, верю.

– Плохо это, почуют нас, как ночь придет, почуют...



Их обступал стремительно темнеющий лес. Клонились к земле еловые лапы, высились сосны, прятались под их пологом лещина и можжевельник, зябко тянуло влагой от земли. В сгущающейся темени затихали птицы, только дятел продолжал отрывисто выстукивать рваный ритм.

– Кто почует? – чуть слышно спросила Леся, кожей чувствуя опасность, надвигающуюся со всех сторон.

– Те, кто не спит в овраге.

Лежка пошатнулся, но устоял, только сжал посильнее Лесиное плечо.

– Надо уйти отсюда, еще успеем!

– С гнильцой-то?

– Тогда повыше залезем!

– С гнильцой-то?

– Не насмешничай!..

Они принялись спорить, словно Леси и не было рядом. Но та была. Потянулась, схватила мертвую руку, притянула к себе.

– И не думай сбежать, – прошипела она прямо в холодное, побитое тленом ухо. – Ты клялась меня вытащить, так думай, смертявка, думай!

Мертвая клацнула зубами, вырвалась. Их глаза встретились. Одного взгляда хватило.

– Закопаться бы. Сумеешь?

Лежка кивнул.

– Ну пойдем искать где...

– А она как же? – Теплая ладонь грела Лесиное плечо.

– Ничего с ней не случится, – процедила мертвая и зашагала по краю оврага.

Когда она скрылась за соснами, Леся наконец сумела разжать сведенные судорогой пальцы, впившиеся в мох и землю так сильно, что грязь забилась под ногти. Чтобы выдержать мертвый взгляд, не потупить, сил хватило с трудом. Но теперь Поляша никуда не денется, выполнит уговор, извернется, но выполнит. Уверенность эта наполнила Лесю спокойствием. Она устроилась во мху, завернулась в шаль и тут же уснула. Ей снился весенний лес, прозрачный еще, но полный жизни.

## Поляша

Проклятая девка все испортила. Гнилая плоть, обреченный дух. И куда же надо было смотреть, чтобы не разглядеть? Что нюхать, чтобы не почуять?

Теперь болотом пахло все вокруг. Воздух стал плотным, липким. Поляша отмахивалась от него, как от облака гнуса, только не помогало. Гниль ползла не за ними, нет, вместе они начали этот путь. Глупая курица. Тоже нашлась лебедица да берегиня! Как волка своего увидела, так ослепла. Поклялась через лес в обход болота девку провести, что сама болото, сама смерть и тлен.

Поляша шагала по краю оврага и бранила себя, бранила на чем лес стоит, а брань эта отзывалась в ней скрипучим голосом Глаши. Вот же странно устроен мир, вот же хитро сложена память. Сколько лет ни живи в чащобе, в птичьем теле с озерной душой, как оступишься – отчитает тебя старая тетка, мало что полотенцем вышитым между лопаток неогреет.

Сын Глаши шел позади, молчание жгло обидой. Мальчик вырос слепым как крот, пах он домом и хлебом, материнскими руками и свежей холстиной. Незачем такому идти по лесу, незачем тонуть в болоте.

– Возвращайся в дом, – бросила ему Поляша. – Гнилая она, болотная. Топь добычу свою не упустит, к ночи сожрет... И тебя вместе с ней.

Мальчик вскинул глаза, испуганный телок, упрямо набычился.

– Что ж сама не бежишь?

– У меня с ней уговор, да и болото мне не указ.

Прозрачные глаза блеснули в сумерках.

– Вот и ты мне не указ. – Взмахнул рукой. – Смотри, бурелома нападало, там и окопаемся.

Место и правда было неплохим. Вековые сосны тянулись вверх, корежили землю могучими корнями, пили воду, не давали ей гнить и болотиться. А поодаль, склонившись над оврагом, росла рябина. Три деревца, переплетенные тонкими стволами, только набрали силу, только выпвели зеленой еще ягодой. Но и ее хватило, чтобы присыпать вход в ночное убежище.

– Огненная-духмяная, сестрица-рябинница, жжется, во плен не дается, – приговаривала Поляша, срывая неспелые грозди. – Как пробудится, как созреется, через сон защитить сумеется. Вырастай, сестрица-рябинушка, пламя-ягодка, пламя-силушка...

Давно, в прошлой жизни еще, всем наговорам Поляша училась сама. Выходила в лес, огибала родовую поляну и шла себе в самую чашу, прочь от земель Матушки. А когда дом скрывался из виду, наконец начинала чувствовать мир, великий и вечный, что шумел вокруг, будто стены дома глушили его, скрывали из виду, сбивали с толку.

– Нам бы жить здесь, Батюшка, – сказала как-то Поляша, собирая спелый шиповник.

Батюшка взлохматил ей волосы тяжелой рукой да отвел в сторону от лица колючую ветку. А когда вышли к дому с целой корзиной багряных ягод, сказал:

– Здесь в погожий день хорошо, а как стылость придет, как размочит тропки, заморозит... Так первая домой попросишься.

Не попросилась. Это раньше ей казалось, что Батюшка во всем прав, да прошло то время, не воротишь. И холодные зимы проживали они с сестрицами, раскалывая утренний лед в полынье, и бесконечные дожди осени, когда перья набухали от холодной воды и не было ничего больше, кроме воды этой, палой листвы и бесконечного увядания. Их согревал тот, кто никак не мог проснуться на дне застывшего озера. Хранил от смерти, зачем-то, но хранил, куда надежнее прошлого Хозяина.

Но лесные наговоры Поляша не забыла. Пусть и слабее, чем прежде, но травы и деревца отвечали ей, дарили защиту, помогали в беде. Вот и рябинки отдали ягоды, задрожали резными листьями, мол, видим тебя, узнаём, хоть и не родичи мы больше, но не откажем. Ягоды упали

на землю у корней. Лежка как раз успел прорыть под ними углубление, на всех не хватит, но гнилую девку землей присыплет. И то хлеб.

– Знаешь, зачем рябина? – опуская во влажную землю целую гроздь, спросила Поляша.

Мальчик посмотрел на нее растерянно – вот-вот закачает головой, – но тут взгляд его помутнел, подернулся рябью – и вспыхнул знанием.

– Она порчу отводит, чары чужие гонит... – Помолчал, будто прислушался к голосу, что звучал лишь для него. – Но под защиту берет только женщин. – Глянул испытующе. – Так?

– Так, – кивнула Поля. – Небось тетка старая учила?

Лежка тут же сник.

– Никто меня не учил.

– А откуда ж тогда?

– Так... слышал.

Вот тебе и неуч, вот тебе и слепец. Поляше захотелось подойти ближе, смахнуть с его волос хвою и веточки, пригреть неприкаянного, но мальчик пах страхом, пах неприязнью, отвращением даже. Что обнимать того, кто видит в тебе лишь тлен и грязь? Что жалеть его, недолюбленного? Коли сам он тебя не жалует.

– Меньше слушал бы да учился больше, – оскалилась она. – Вон яма обсыпалась. Заживо схоронить решил девку свою?

Лежка скользнул под корень, начал похлопывать рыхлую землю, забормотал чуть слышно. Слов Поля не разобрала, но узнала.

– Стой крепко, как дуб стоит, в бурю, во мглу, во вражью сторону. Стой крепко, как дуб стоит, не майся, не кайся, врага не страшайся. Стой крепко, как дуб стоит.

Так Батюшка просил стоять дом, любой, что укрывал его от непогоды и злой ворожбы. И тот большой и могучий, звавшийся родовым, и кучу лапника, в которую он залезал, чтобы переждать лихую ночь. Под его сильными ладонями крепчали стены, каменела рыхлая земля. От его слов утихал ветер и дождь переставал заливать внутрь убежища.

Жаль, что мальчик не был похож на отца. Под его тонкими пальцами земля только мялась, сыпалась вниз, обращалась в жижу. От его голоса – слишком тонкого, слишком слабого для Хозяина леса – поднимался холодный ветер, занимался мелкий дождь.

– Отойди, – бросила ему Поляша. – Наигрался в лесового, и хватит.

Тот пристыженно отполз. Поляша схватила поваленную сосновую лапу, обломала тонкие палочки, бросила их на дно ямы, подперла стену узловатой веткой так, чтобы хвоя стала поломом. На ночь хватит. А коль ночь девка переживет, так вторую тут проводить точно не станет.

– Приведи ее, – приказала Поляша, выбираясь наружу. – Сюда положим, землей забросаем, рябиной с лишайником прикроем. Повезет – не почуют ее.

Мальчик закивал, поднялся на ноги, отряхнулся. Послушный, как домашний щенок от побитой суки. Что за напасть такая с родом вышла? Что ни дитя, так зверь. Один дикий волк, ни обуздать, ни приручить. Другой скулящий пес, без чести и имени. Был бы третий, может, и свезло бы. Вырос бы Хозяином. Лесным, но человеком. Мысль эта пронзила Поляшу от макушки до истерзанных ступней.

– А если не повезет? – не ко времени спросил Лежка.

И она не сдержалась.

– Если не свезет, то к утру сожрут ее. Утащат в овраг и сожрут. И я по ней плакать не буду. – Ощерилась в побелевшее лицо. – Иди, говорю, пошел!

Мальчик отвернулся и поспешил прочь. А Поляша осталась ждать, вместе с болью своей и лесом, что никак не желал различать в ней родную кровь. Может, потому, что крови той не осталось.

## Олег

Вспоминать было приятно, память накатывала мягкой волной, оплетала нежными ветвями, шептала на ухо легко-легко, чуть слышно. Слышно лишь ему – Лежке.

Он никогда еще не заходил так далеко в чащу, никогда не был в такой немислимой дали от родного порога, но лес оказался ему знаком. За поляной начинался орешник, про него часто говорили в доме, мол, осень пришла, надо сходить, собрать дозревшее, а то, что попадало, оставить, пусть набежит зверья, мелкого и большого, пусть наестся со стола лесного Батюшки.

Долго тянулась лещина, то разрасталась, раскидывалась ветвями так широко, что не пройти, то редела, уступала молодым вязам и дубкам, и про это Лежка знал. Давно еще, когда Батюшка был могуч, а Поляша совсем еще девочка, что сбегала из дома, стоило только глаз с нее свести, в дальнем орешнике потерялась Фекла. Увязалась за братом, ушедшим искать любимую тетку, да не поспела. И долго плутала, выдохлась совсем; вернул ее домой Батюшка в самой ночи, благо не было тогда болота в лесу, ходи себе, гуляй, не тронет тебя ни мавка, ни кикимора.

Феклу сгоряча отходили прутком, та не пискнула даже, приняла заслуженную кару как подобает. А в растрепанных волосах ее запутались дубовые листики, нежные-нежные, молодые совсем. Лежке и трех лет тогда не было, но он точно помнил, как приговаривала заплаканная Глаша, мол, девка-то до конца лещины добежала, окаянная, до дубков самых, дура- дура!

А сколько памяти скрывалось в каждой травинке, в налитых ягодах среди мха, в сонных деревьях и шепоте ветра в листве! Вспоминалось легко. Слова сами приходили на ум, руки сами тянулись, чтобы огладить, разбудить, согреть. А дальше тишина. Ни тепла, ни отклика, ни приветов. Дубки продолжали равнодушно шуметь, клонилась к земле плакун-трава, прятались во мхе россыпи брусники. Лес слышал, лес видел, но не принимал. Ничего не чувствовал. Не желал делиться силой.

«Я твой сын! – хотелось закричать Лежке. – Я родился на поляне, дарованной тобою роду, что меня зачал. Я такой же, как все они. Я жил здесь в холода и зной, в засуху и дожди. Я схоронил отца, я потерял сестру и брата, я не мог называть мамой ту, что дала мне жизнь. Я разделил с тобой всю боль, всю горечь тревог и страха. Я стою перед тобой, твой сын, как остальные твои сыновья. Так почему же ты не примешь меня, лес-господин?»

Хотелось, но Лежка молчал.

Больно бывает только в первый раз. Всю обиду, что мог, Лежка испытал на рассвете своего посвящения. Лес не принял его тогда, так зачем горевать теперь? Не проси, чего тебе не суждено. Вспоминай себе, что помнится. Про рябинушку, про землицу, что стоять должна, как дуб, про девку, которая несет в себе болотную гниль и вряд ли переживет эту ночь.

О гнили Лежка помнил смутно. В доме за слово одно такое выгоняли в подпол – просить лес о милости, отгонять от себя анчуток, прячущихся во тьме. Их мохнатые тени скользили по стенам, Лежка осенял себя защитным знаком, но каждый раз натывался на что-то мягкое и хохочущее, давился криком и убегал вверх по лесенке – плакать и звать тетку Глашу.

Но гниль в доме знали. Если в лихую ночь выйти в чащу да пойти от родовой поляны с поляной лобной туда, где сплетаются кряжистые корни старых сосен и только пройдохи-хорьки шныряют меж ними, выискивая добычу, то обратно можно и не вернуться. А коли вернулся да поранился по пути, то домой принесешь подарочек. Рана станет гноиться, кровь потечет мутная, в черноту. Начнется лихорадка, сбегутся из ниоткуда тени, приведут с собой упыря, тот и выпьет всю гниль из раны, а с ней и кровь. А с кровью и жизнь. Так себе сказочка на сладкий сон.

Кто пойдет по следу девки, несущей с собой болотную рану, и думать не хотелось. Твари топи, падальщики чащи. Силы темные, вековые. Кого привлечет запах смерти и слабости?

Если бы Лежка мог, то припал бы к земле всем телом, взмолился бы лесу, призвал бы его в защитники. Даже наговор он бы вспомнил. Да только лес укрывался ночным пологом, равнодушный и темный, полный опасности и тех, кто опасностью этой был. Лежка ускорил шаг.

Он выбрался из зарослей бузины, осторожно, чтобы не сорвать неспелой грозди, – довольно недобрых знаков, – прошел еще немного, обогнул пологий край оврага и выбрался к высокой ольхе, где они оставили Лесю. Но Леси не было. Только примятая трава да скинутая с плеч серая шаль.

Кровь прилила к щекам. Лежка даже глаза потер, вдруг почудилось. Крик вырвался из груди раньше, чем он успел подумать.

– Леся! Ау!

В переплетении бузиновых веток испуганно зашевелилось что-то маленькое, поросшее жесткой шерстью; недовольно ухнула сова, взлетела с ольхи и скрылась в чаще, сбивая листья, затрепетала в траве приговоренная ею добыча.

– Леся!

Крик понесся вперед, от лещины к оврагу, скользнул на его дно, увяз среди бурелома, крапивы и сныти.

– Леся!

Затрещали ветки, заходили ходуном. Кто-то пробирался через лещину, кто-то услышал и поспешил на зов. В сгущающихся сумерках было не разглядеть – зверь ли, тварь ли болотная, – но Лежка обмер. Глупый пес не станет брехать на краю двора, если за ним волки да лисы. Мышь не запищит в ночи, зная, что филин не дремлет. Лес могуч; будь тих в нем, будь незаметен, и выживешь. А станешь кричать у тенистого оврага, где давно уже не спят его обитатели, так приготовься к смерти.

Длинные бледные пальцы отодвинули ветку орешника за миг до того, как Лежка сорвался с места и побежал, забыв, что обещался хранить от беды ту, за которой отправился в чащу. Но тонкое запястье болталось в свободном рукаве из небеленого льна – выстиранная ткань, знакомая штопка на шве, – и страх затих. Леся вышла из зарослей, сонная и виноватая.

– Ты где была? – накинулся Лежка, схватил ее за край рубахи, притянул к себе. – Зачем ушла?

Она смешалась, дернула плечом, мол, ушла и ушла, что теперь?

– Ты хоть понимаешь, где мы? – Пережитый страх стучал в ушах, не давал успокоиться. – Понимаешь, где?

Леся отвела глаза, потянулась в сторону, все молча, все медленно, будто спала еще. Лежке захотелось тряхнуть ее посильнее, разбудить наконец, чтобы она почуяла всю бескрайность леса, всю опасность его. И запах гнили, что тянется за нею, приглашая болотных тварей отужинать.

– А сам-то понимаешь? – Хриплый голос тетki раздался совсем близко.

Пока Лежка кричал, пока искал беглянку, мертвая успела спрятаться за ольхой, слиться с нею. Не знаешь где – не разглядишь.

– В сонном лесу аукать? На краю оврага кричать? – Сплюнула под ноги, зыркнула зло. – Щенок домашней суки. Подыхать будешь – не спасу.

Плевок повис на травинке, скатился по ней к земле.

– Спасешь, – ответила ей Леся, обошла застывшего Лежку, наступила на выпачканную в мертвой слюне траву. – И меня, и его. Уговор был.

– Я тебе клялась, не ему.

– Мне. – Вздернула подбородок; Лежка увидел, как по обнажившейся шее бегут острые мурашки страха. – А он – со мной. Что случится, без него не пойду.

Поляша скрипнула зубами, но сдержалась.

– Вас сожрут, и меня с вами, если будем торчать тут, как волчий хвост в проруби, – бросила она и скользнула за ольху, только серенькие сережки на ветках вздрогнули.

Лежка подхватил забытую в траве шаль, осторожно накинул на озябшие Лесины плечи.

– Темно совсем, пойдем... А то поздно будет.

Та послушно кивнула, даже за руку взять позволила. Они пошли мимо сосен, лес засыпал, отдавался на милость ночным своим жителям. Пахло влажным мхом, в просветах между стволами поднимался туман, под ногами хрустели ветки и хвоя, но Лежка ничего не видел, ни о чем не думал. В его ладони лежали чужие пальцы. Невесомые, но живые. В этом легком соприкосновении было столько доверчивой тишины, что перехватывало дух.

– Смотри, рябины! – воскликнула Леся, легко вырвала руку и побежала вперед. – Нежные какие, славные...

Застыла рядом, потянулась к стволам, погладила ласково-ласково, как родных. На мгновение Лежке показалось, что рябинки ответили ей, всколыхнулись резными листьями, затрепетали ветвями. Но сумрак стал плотным, не разглядеть, мало ли что привидится в темноте?

– Пойдем!.. – чуть слышно позвал он.

Леся в последний раз провела рукой по стволам, шаль снова сбилась, оголила плечи, Лежка подошел ближе, поправил – не застудилась бы, холодно в лесу, мокро, а им идти еще, далеко идти. Осторожно потянул Лесю прочь. Уходя, она все оборачивалась, вглядывалась во тьму.

– Где вы там? – прошипела тетка, успевшая свернуться у кряжистых корней сосны, даже ветками себя засыпала, хвоей замела след.

Лежка наклонился, проверил, не осыпалось ли ночное убежище – то стояло прочно, только влага успела вымочить дно. К утру яма станет стылой, почти морозной. Лежка нашарил в мешке теплую накидку, бросил вниз: если девка хорошенько укутается, может, и не простынет.

– Огня бы зажечь, – не надеясь на разрешение, предложил он.

Мертвая даже не ответила, зыркнула раздраженно, оскалилась.

– Закапывай ее скорее, скоро луна выйдет.

Тьма и правда перестала быть кромешной, засеребрилось между кронами. Вот-вот засияет ночное лицо – покровитель мертвого да гнилого. Если луна увидит добычу, то никакое укрытие под корнями сосны не спасет. Только вот Леся не спешила. Она продолжала смотреть на рябины и шажочек за шажочком возвращалась к ним.

– Я сейчас, – не глядя бросила она и побежала к оврагу.

– Стой!.. – хотел крикнуть Лежка, но мертвые глаза яростно вспыхнули.

Девку он догнал у самых рябин. Она прижалась к стволам, обвила руками, дышала глубоко и размеренно, будто уснула. Посреди ночного леса, раненая и бегущая прочь от раны своей.

– Леся... Леся... – Имя вторилось, но никто не откликнулся. – Леся...

Она вдохнула еще раз, медленно выдохнула и обернулась. Ее глаза блеснули, в полумраке казалось, будто они сияют.

– Вот теперь пойдем, – легко согласилась она, улыбка блуждала по ее губам, щеки покраснелись. – Пойдем скорее.

Помогая забраться в укрытие, Лежка протянул ей руку, чтобы она не скатилась вниз кубарем, но Леся только головой покачала, прыгнула сама. В кулаке она сжимала гроздь рябины. Спелые ягоды темнели на бледной коже кровавым багрянцем.

Но думать об этом было некогда. Лежка обошел сосну, подлез под корень и принялся засыпать убежище. Комья покатались в углубление, прямо на скорчившуюся Лесю. Еще румяная, теплая от ходьбы и колючей шали, она натянула вязаную шерсть до самых глаз, а после и



вовсе свернулась, спрятав лицо в коленях. Шаровары задрались, обнажая край раны, перетянутой грязной тканью, и сразу пахло гнилью.

– Поспеш! – ругалась на него мертвая. – Что стоишь?

Лежка загребал землю обеими руками, проталкивал ее под корень, утрамбовывал, толкал еще, ссылая все новые пригоршни, а тетка все шептала-шептала что-то беззвучно. Лесю было не разглядеть, стена рыхлой земли вперемешку с хвоей и потревоженным мхом отделила ее от мира, укрыла собой от чужих взглядов. Но Лежка чувствовал: она там. По теплу, расходящемуся от земли к его ладоням, по тревоге, доносящейся из-под корней, будто тихий плач.

– Палкой пошеруди, чтобы не задохнулась, – подсказала тетка.

Лежка подхватил ветку, воткнул ее в свежую стену, раз-другой-третий, пробил слой земли, дал ход воздуху, его должно было хватить. Оставалось прикрыть корни потревоженным лишайником, припорошить землей в тонкий слой, а сверху бросить рябину – зеленую, но сильную, могущую сохранить.

– Готово, – шепнул он, поворачиваясь к тетке, но та не ответила.

Ломаной тенью она застыла на краю оврага. Лежка разглядел, как ветер лениво шевелит край ее савана и тот белеет сквозь лесную хмарь, будто сам он неупокоенный дух, а не ткань, духу принадлежащая. Одной рукой тетка держалась за тонкий ствол рябинки, второй отводила в сторону переплетенье веток. В неверном свете Лежке показалось, что рябина дрожит. Всем своим юным телом, всем своей извечной силой. Дрожит, предвещая беду.

– Идут!.. – понял он до того, как тетка рванула прочь от пологого края оврага.

Плотная темень, наполнившая его до краев, пошла рябью, будто не ночь была в нем, а тяжелая вода, черная, как беззвездное небо поздней осенью. И когда из густой тьмы выросла фигура – слишком высокая для человеческой, венчающаяся парой ветвистых рогов, – а за ней вторая, уже безрожья, и третья, Лежка медленно осел на рыхлую землю под корнями сосны. Темень надвигалась рогатыми, высокими и тонкими, могучими в своей ловкости, с которой они выбрались из оврага и ступили на землю орешника.

Мертвая стояла перед ними, как хилый побег на пути великой бури, вытянув руки перед собой. Лежка слышал, как тихо и утробно рычит она, знал, как скалит зубы, бесстрашная в вере, что дважды умереть не умрешь. Но саван, укрывающий ее холодное тело, дрожал в такт ознобу, сотрясающему его. И был этот саван белым, как знамя всех ее поражений.

Лежка прижался к шершавому стволу сосны и закрыл глаза. Под толщей рыхлой земли за его спиной тихонько дышала укрытая от смерти Леся. Укрытая, да не спасенная.

## Олеся

Только в детских сказках лес спокоен, а идущий по нему бесстрашно шагает сквозь чащу, не печалась ни о чем, кроме главной своей цели. Кажется, такие сказки шептала Лесе мама, покачивая на коленях, мерно и размашисто, в такт сонной дреме. И отважные мальчики отправлялись в лес, гонимые удачью. И бесстрашные девочки спешили по тропкам, чтобы принести лесорубам пирогов и повстречать на опушке свою судьбу. И деревья шумели над ними, и звери склоняли мохнатые головы, и под каждым деревом можно было спрятаться от непогоды.

На деле все оказалось не так. Стоило задремать, спрятав озябшие плечи в шаль, как воздух наполнился жужжанием ночной мошкеры, злющей и кусачей, сырой мох промочил одежду, в бока закололо ветками. Лесе снился лес, тот самый, из сказок – вешний, подернутый зеленоватой дымкой первой листвы, полный чудес и таинственных радостей, и мамыны руки вели сквозь него, нежные-нежные, пахнущие детским кремом. Но из оврага тянуло стыlostью, от голода крутило живот, сводило пальцы на правой ноге, и Леся вырвалась из сна, оставляя в нем маму и сладкую дрему.

Хотелось есть, согреться и выпить горячего, лучше сладкого, совсем хорошо, если хмельного. Хмель вспомнился вяжущей горечью на языке, от которой становилось тепло и спокойно. От которой все становилось проще. Что скрывалось за этим «всем», вспомнить не получилось, да и не хотелось. Зато хотелось пи́сать. И это желание быстро подавило все остальные.

Леся поднялась с земли, влажная шаль соскользнула под ноги и осталась лежать, как сброшенная шкура. Такая же темная, всколоченная мокрая шерсть, еще чуть – и заскулит, жалуясь на звериную свою судьбу. Леся наклонилась, погладила колючие складки, шаль осталась шалью, но на душе полегчало. Под ногами хлюпала раскисшая земля, ботинки скользили, а ступни в них то и дело проваливались вперед, в разношенные пустоты, помнящие чужое тепло. Леся стянула шаровары, присела в орешнике, ухватилась за ветку, чтобы не упасть. Позади шумела на ночном ветру лещина, за ней тонул во тьме покинутый всеми дом, впереди начинался овраг, наполненный ночью до самых краев. И не было вокруг ни единой весточки нормального мира – большого, шумного, того, в котором Леся жила. Да и жила ли? Почему тогда в памяти он остался чередой осколков, рваных образов, мамыных рук и бабушкиных встревоженных взглядов? И что же тогда происходит сейчас, в этом лесу, через который вести ее вызвалась лихая тварь, то ли мертвая, то ли застывшая в миге умирания?

– Леся!.. – разорвал тишину знакомый голос. – Ау!

Даже ей, чужачке, не помнящей ничего путного, было ясно: кричать в ночи на самом краю оврага – как звать на ужин голодного волка. Собою отужинать звать. Леся подхватила спадающий пояс шаровар, одернула задравшуюся рубаху и поспешила на зов, пока на него не пришли другие.

И пока они пробирались сквозь ночь к убежищу, и пока препирались устало и привычно, Леся не могла перестать думать, почему же мальчик этот, родившийся в лесу, выросший среди теток в самой сердцевине их сумасшествия, не знает, не чувствует ничего из открывшегося ей. Как может он поддаваться той, что пахнет смертью, если она бессильна перед ним? Как может пройти мимо трех рябинок, стоящих на краю оврага, если они зовут, тянутся резными веточками, звенят гроздьями.

– Я сейчас... сейчас, – отмахнулась Леся от Лежки, требующего от нее укрыться в земле, а сама поспешила к деревьям, как к сестрам. – Здравствуйте, милые...

Гладкая кора их стволов скользила под пальцами, мерцали во тьме переплетения тонких рук, покачивались ягоды. Еще не в полную силу налились они, но багрянец уже тронул бока, затеплился в мякоти. Гроздь сама упала на ладонь, стоило Лесе потянуться к ветке.

– Леся! Леся!.. – звали ее.

А она все не могла надышаться спокойствием, разливающимся вокруг. Нужно было идти, в овраге ворочалась злая воля, готовилась выбраться наверх, поживиться, насытиться. Все это Леся чуяла, всего этого боялась, потому что знали и боялись того рябинки.

– Пойдем, – согласилась она, выпуская тонкие стволы из объятий. – Вот теперь пойдем.

Земля посыпалась на нее крупными комьями, стоило только опуститься на дно убежища. Мокрая шаль снова укрывала плечи. Большим зверем, уставшим от дождя и голода, она кололась через рубаху, но грела, заботливо и безропотно. Леся натянула края на лицо, сразу запылали щеки, но стало тише и спокойнее.

Снаружи происходило что-то большое и темное. Что-то могучее подбиралось все ближе, все четче слышался рокот, он разносился землей в самые недра. Опасность – скрипели корни, опасность – вторила им сухая сосновая лапа, опасность – шептали хвоинки и опадали на дно убежища.

Леся дышала сквозь влажную шерсть, слушала рокот, зная, что за присыпанной стеной земли решается судьба. Нужно было выбраться, встать рядом с теми, кто пытался спрятать и спасти ее, драться, визжать, бежать, наконец. Но Леся не двигалась. Если затихнуть, как мышь в норе, если сжаться в крохотный комочек шерсти и страха, то беда может обойти стороной. Смахнуть, разодрать в клочья тех, кто окажется на ее пути. А Лесю не тронуть. И она осталась на месте – бояться, не дышать, не думать, не существовать, лишь бы остаться невредимой.

Но снаружи зашумело, раздались приглушенные крики, потом звук удара, и что-то рухнуло, стена вздрогнула и обсыпалась, оголяя убежище, а вместе с ним и Лесю. Шаль окончательно промокла от сырости и холодного пота.

Леся из последних сил зажмурила глаза: если у нее и оставалась надежда, так на слепоту, ведь если чего не видишь, то, может, того и нет. Только оно было. Было на самом деле. Что-то заглянуло в убежище, шумно задышало, пригнувшись. Леся и сама чувствовала, как от нее пахнет гнилью и телом, скованным страхом. Живой запах слабости. Дух жертвы. Нужно было открыть глаза, посмотреть на хищника как на равного, показать, что тоже чего-то стоишь. Но Леся не стояла, ничему не была она в цену – скрюченная в грязи, прячущаяся в растянутой шерсти незнакомого зверя.

Тот, что пролез в убежище, гортанно взвыл, протянул лапу и схватил Лесю за плечо. Ее обожгло раскаленной плотью. Чудище было живым, цепким, когтистым. Его кожа, мозолистая, но без чешуи и шерсти, и ток крови под ней – все это вмиг успокоило Лесю. Человек – не зверь, не тварь болотная, не мертвячка, не злой дух. Человек.

Леся распахнула глаза, готовая встретиться взглядом с тем, кто тащил ее прочь из убежища, волок по грязи, больно сдавливая. Но вместо лица – любого, мужского или женского, юного или старого, бородатого, лысого, изувеченного шрамами – она увидела искаженный злобой оскал волка. Его черные глаза смотрели равнодушно, как две блестящие пуговицы. Так смотрят на лежалую тушку зайца, на поломанное дерево, на врага, испустившего дух в моче и рвоте. На приговоренного к смерти, что ведут к ней на поклон. Так смотрят на добычу, поймать которую вышло слишком просто. Так смотрят на того, кто недостоин злобы или сочувствия. Так смотрят на пустое место.

Так смотрел на Лесю тот, кто вытащил ее из-под корней старой сосны. И никогда еще ей не становилось так страшно под чьим-то взглядом.

...Ее тащили через орешник. Волокли по земле, дергали, царапали, больно впились грубыми пальцами. Мир смешался в клубок из темноты, острых веток, скользкой грязи и камней, что норовили выскочить и попасть под ноги. Земля пошла под откос, и Леся поняла, что они спускаются по скату оврага. Зябкий воздух загустел, стал молочным и плотным. Туман поднимался от дна наверх, клубился хищными щупальцами, тянулся к Лесе, забивался в нос и рот. Поодаль трещали ветки, кто-то недовольный рычал, послышался удар и задушенный стон. Позади раздалось гневное шипение. Значит, схватили не ее одну.

Их всех тащили по склону, подгоняли тычками и скалились. Но шеи оставались не сломаны. Для этого хватило бы одного движения. Раздался бы хруст, кровь бы потянулась струйкой из распахнутого рта. Путь бы закончился на краю оврага, будь на то воля чудища с мордой зверя и нагруженными человеческими руками. Но они спускались все ниже, скользили по грязи и мху, обходя поваленные деревья и рыхлые водомоины, пока не достигли дна.

Там пахло затхлостью, но Леся, привыкшая к духу болота, что тянулся за ней, почувствовала лишь, как холодно стало кругом. Чудище ослабило хватку и толкнуло ее на землю. Леся послушно опустилась в грязь, поджала ноги, обхватила себя за плечи. В темноте было не разглядеть ни похитителя, ни тех, кто тащил в овраг Лежку с мертвой теткой. Но чужаки были рядом – дышали тяжело, скользили во тьме лоскутами тьмы еще большей, пахли влажным мехом и злобой, пока усмирненной, но способной вспыхнуть в любой момент.

– Сиди!.. – Рык, глухой и утробный, родился в глубине оскаленной волчьей пасти, но принадлежал он человеку.

Леся замерла, она и не думала шевелиться, но темнота всколыхнулась там, откуда доносилось сиплое дыхание Лежки.

– Мы лесного рода, – слабо начал он. – Ни с кем здесь не в ссоре, ни с кем не в брани, отпусти.

– Сиди!.. – повторил волк, шагнул от Леси в темноту, послышалась возня. – Разорву! – пригрозил он с ледяной яростью.

Лежка затих. Туман оседал мокрой взвесью, серебрился на шерсти сотнями капелек, выдавал прячущихся в ночи. Тот, что скрывался за волчьей мордой, стоял у кряжистой осины, весь укутанный в шкуру, только запястья да ладони голые. Второй, высокий, узкий в плечах, с раскидистыми рогами на маленькой голове, подошел к нему и положил руку на плечо. Леся поспешила отвести глаза – в их тревожном молчании было скрыто куда больше, чем в самом яростном рыке. Третий же прятался поодаль, среди сухого бурелома. От него шел дух горячего тела, жесткой шерсти и опасности. Он злился, но не смел нарушить тишины. Леся решила, что от него стоит держаться дальше всего.

Но Лежка того не понял, зашевелился в попытках встать.

– Я же свой, я Батюшкиного рода! – просяще бормотал он. – Хозяина вашего...

Третий рванул к нему через ветки и грязь. Миг – и оказался рядом. Леся увидела, как в распахнутой кабаньей пасти вспыхнули два уголька. Чудище схватило Лежку за грудки, потянуло к себе и швырнуло на камни. Тот слабо всхлипнул и затих.

Леся подскочила на ноги, разорвали молчание двое у осины, шагнули к бурелому, встали между кабаном и его жертвой, зарывали, предупреждая. И только мертвая осталась застывшей фигурой у большого камня, поросшего мхом.

– Разорву! – лютовал кабан, нависая над Лежкой. – Лесная падаль! Разорву!

Он говорил человеческими словами, яростными и злыми, но человеческими. Леся шагнула ближе, сама не зная еще, что будет делать.

– Послушайте, – пробормотала она, но никто не обернулся. – Эй вы!

Откуда только взялся голос этот, властный и звучный, если внутри колотился страх, разливался волною слабости? Леся будто увидела себя со стороны – все эти складки старой ткани, висящие на костях, лохмы, полные сухой листвы и грязи, расцарапанные щеки в лиловых разводах синяков, все свои углы и сколы, многоугольники страха и отчаяния. И грязное пятно на штанине, под которой налилась гнилью рана. Не было во всей этой жалобности ни силы, ни звука. Но был голос. И его слышали.

Первым обернулся тот, кто носил на себе рога оленя. Ломкая шея склонилась, голова была слишком тяжелой для нее, и Леся поняла, что перед ней девушка, высокая и хрупкая, замученная бесконечной ночью и холодом оврага.

– Мы вам не враги, – выпалила Леся, разглядывая темное пятно перед собой в поисках девичьих глаз. – Мы просто шли мимо. Нам нужно. Пропустите...

Голова покачнулась, во тьме блеснуло влажно, но без сочувствия.

– Наша земля, – ответила олениха. – Ни Хозяина, ни рода – наша.

– Мы заплатим. – За спиной Леси зашевелилась мертвая, поднялась на ноги, медленно и опасно.

Из пасти волка вырвался скрипучий смешок. Человечий. Нет никаких чудовищ, нет перевертышей. Люди. Сумасшедшие люди. Леся даже плечи расправила. С чужим безумием справиться легче, чем со своим. С ним можно сжиться, если играть по правилам. Нелегко, но возможно. Уж она-то сумеет, не важно помнить почему, главное – верить, что ей это под силу.

– Ничего вашего нам не нужно, – прорычал волк.

Третий всхрипнул и повернулся к ней. Кабанья морда смотрела яростно и тупо, но в глубине пасти мерцали злобные угольки глаз. Человек, скрытый под маской, пылал ненавистью. Леся чувала жар, исходящий от него, ослепляющий каждого, кто смел приблизиться. Не приказывать ему нужно было, а просить. Но мертвая потеряла нюх от страха.

– А коль не нужно, так дай пройти, зверь!.. – процедила она, оттолкнулась от камня и сделала первый шаг.

На второй времени не хватило. Кабан уже схватил ее за шею, притянул к себе, задышал хрипло, давясь злостью.

– Сдохнешь первой, лесная девка, первой-первой сдохнешь!

– Пусти! – Мертвая забилась, как выброшенная на берег рыбина. – Ослеп, что ли? Не чуешь, кто я?

Кабан шумно втянул воздух, но руку разжал. Мертвая повалилась на землю, закашлялась.

– Пададь, – бросил кабан, повернулся к своим, обтер лапищу о холщовую штанину. – Совсем дохлая... Принесло болотом нам в наказание.

И тут же будто уменьшился, сжался в плечах, остыли угольки ярости, припорошило пламя злобы.

– Мы уйдем, прямо сейчас уйдем, – тихо, но уверенно сказала Леся. – Поднимемся с вашей земли, выберемся наверх и никогда больше...

– Никогда, – оборвал ее волк и потянулся к поясу. – Потому что мертвые здесь не ходят. И вы не станете.

В темноте его кинжал вспыхнул ледяным разрядом. Холодная сталь разорвала полотно ночи, и та зашлась в страхе и предвкушении.

– Мы заплатим-заплатим. – Леся заслонила руками, попятилась. – Не надо, пожалуйста, мы заплатим...

– Что ты можешь дать нам, девочка? – мягко спросила олениха. – Что за ценность несешь ты через нашу землю?

Денег у Леси не было. Да и зачем они тем, кто живет на дне оврага, пряча лица под звериными мордами? Не было ничего. Только рубаха с шароварами, шаль, старые ботинки. Под грубой тканью отчаянно билось сердце, даже тесемка, висящая на шее, вздрагивала в такт. Леся хлопнула себя по груди, нащупала острый край оберега. Медуница! Сладкая, тягучая, бесстрашная. Медуница. Слава Матушке, собравшей ее, слава глупому мальчику, подарившему чужачке оберег.

– Вот! – Леся готова была рассмеяться от облегчения.

Она потянула тесемку и вдруг поняла, что все это время сжимала в кулаке гроздь рябины. Ягоды помялись, окрасили ладонь алым соком, будто кровь застыла в переплетении линий жизни. Леся встряхнула рукой, багряная россыпь упала на землю. И в тот же миг ахнула, отпрянула олениха, опустил кинжал волк, даже кабан закричал, завопил, отступая в сторону.

– Зови сову, – бросил волк, не спуская с Леси цепкого взгляда.

Олениха сорвалась с места и скрылась в темноте, будто и не было. Мертвая проводила ее насмешливым фырканием.

– Что, ягодок испугались, дети леса? Коли ваша земля, чего бояться?

– Откуда?.. – спросил волк.

Мертвая зашлась каркающим смехом.

– С болота, вестимо.

– Не с тобой говорю, – рыкнул на нее волк, шагнул к Лесе, но притронуться не решился. – Где взяла?

– Ягоды?

Она все не могла понять, какое из правил нарушила, чем удивила так, что сделала. Отчего ветер вдруг поменялся, ярость затихла, отступил страх. Даже темнота поредела. Даже туман рассеялся.

– Ягоды.

Из-под волчьей маски на Лесю смотрели голубые глаза в рамке пушистых ресниц. Глубокие, водяные, женские. Не волк – волчица осторожно подбиралась к ней, пробуя землю перед собой, будто та могла обернуться топью.

– Так рябинки на краю оврага... – Леся сбилась, прочистила горло. – На краю оврага растут.

– Не растут. – Косматая голова покачнулась. – Как болото пришло, так и не растут...

Сердце пропустило удар и тут же забилося. Все быстрее и быстрее. От внезапного страха перехватило горло. Леся заметалась, до боли всматриваясь в темноту. Края оврага нависали над ними – скользкие, блестящие мокрой глиной, поросшие жесткими ветками волчьего лыка, их лысая верхушка ровнялась с ночным небом, далекая и безжизненная. Только верхушка сосны, чьи корни прятали, да не уберегли Лесю, виднелась поверх. И никаких тебе переплетений рук и резных листьев, никаких тебе тонких стволов и гроздей спелых ягод. Но Леся помнила, как скользила молодая кора под ее пальцами, как пахло жизнью, как грело спокойствием.

– Были... Они были... – шептала она.

– Вижу, что были, – ответила ей волчиха, поднимая с земли красную ягоду. – Не верю, но вижу.

...Ждали они в молчании. Только чуть слышно постанывал Лежка, так и не поднявшийся с земли. Под цепким взглядом волчицы Леся присела рядом, устроила его голову на коленях, прикрыла от насмешливых взглядов шалью. В ответ шевельнулись веки, задрожали ресницы, но глаз Лежка не открыл. Его бил крупный озноб, Леся дотронулась до лба – горячий и влажный: от удара ли, от пережитого ужаса или от леса, в который не нужно было уходить ему, Лежка вспыхнул лихорадочным жаром.

– Ничего... – зашептала Леся, перебирая его выпачканные во влажной грязи волосы. – Заживет и это, все заживает, весна наступает, капель сойдет... И все пройдет, слышишь?

Лежка сонно вздохнул и открыл глаза. Шаль надежно спрятала его пробуждение.

– Спи, – попросила Леся одними губами, Лежка опустил веки, замер, покорный.

Волчица подошла ближе, наклонилась, втянула влажный воздух, распробовала его. Под ее ногами в грубо сшитых кожаных ботинках без твердой подошвы земля почти не приминалась, будто на ней и не стояло чудище в звериной маске.

– Жить будет, – сказала она, обращаясь к Лесе, но взгляд на нее не подняла. – Только хилый он, не лесной. Зачем такой в пути?

У камня насмешливо фыркнула мертвая, но голос подать не решилась. Рядом с ней, пылая раскаленной злобой, топтался кабан, готовый в любой момент броситься и выдавить жизнь по медленной капле.

– А зачем тот, кто хочет тебя спасти? – спросила Леся, плотнее запахиваясь в шаль – от раскисшей земли тянуло могильным холодом.



– Чтобы он погиб за тебя при первом же удобном случае, – откликнулась мертвая.

Кабан хлопнул себя по колену и раскатисто захохотал. Эхо разнесло хохот по всему оврагу, затрещало по бурелому. В ответ коротко ухнуло, и кто-то выбрался к ним – низенький, округлый, весь в растрепанных перьях. В темноте сложно было разглядеть, пришиты ли те к куртке или на самом деле растут на существе, что двинулось к волчихе, гневно размахивая руками- крыльями.

– Сучий потрох!..

– Не кричи, – волчица подошла ближе, опустила руку на покатое плечо совы. – Ночь не кончена еще, не буди лихо.

– Так у вас еще и лихо припрятано?.. – начала было мертвая, но кабан двинулся к ней, утробно рыча, и та замолчала, сливаясь с камнем.

Леся осторожно убрала с колен голову Лежки, стянула шаль, устроила его поудобнее и только потом поднялась. Спешить ей было некуда, в плотной ночной хмари, среди сумасшедших, обряженных в дурацкие костюмы, она только и хотела дожидаться утра, чтобы наконец увериться, что эти чудища – не чудища вовсе, а несчастные, потерявшие разум в чаще.

– Покажи ей ягоды, – мирно попросила волчица, что больше не скалилась, не грозилась разорвать их на части, и Леся почти успокоилась.

Она протянула раскрытую ладонь, рябина окончательно сморщилась, но продолжала алеть спелостью. Сова не пошевелилась, только задрожали кончики перьев, все-таки пришитых к тканой куртке, застегнутой на кожаные петельки.

– Видишь? Она принесла нам весточку... – Голос волчихи стал шепотом, робким, даже просящим. – Это рябинки, наши рябинки... Сестры наши по крови его.

– Молчи, – перебила ее сова. – Девка могла сорвать их где угодно.

– Да как же? Ты посмотри, свежие они, холодные с ночи, помялись только, пока тащили девку-то...

Сова покачала головой, от нее разносился прелый запах влажного пера и чего-то острого, опасного, дымного, как пепелище, оставленное огнем, что напился крови.

– Зря отвлекла только. – Посмотрела зло, сверкнула желтыми глазами, по лицу расходились волны то ли краски, то ли золы. – Принеси мне крови их. Как положено, так и принеси. Нечего тут гадать, нечего надеяться. Сами мы как-нибудь, без чужаков.

Нить ускользала. Что-то важное, почти случившееся, способное вывести Леся прочь из чащи в мир, которому она принадлежит, пусть и не помнит его, вдруг задрожало и обернулось мороком. Сова уходила. Та, что была обряжена в дурацкие перья, приняла решение, и оно вдруг изменило все. Волчица зарычала, двинулся к мертвой кабан, даже олениха, спрятанная ветками буреломы, опасно наклонила голову, увенчанную рогами. Еще чуть, и они бросятся, истерзают, изорвут...

– Стой! – крикнула Леся, бросилась за совой. – Стой, говорю! Рябина! Попробуй ее!

Сова нехотя обернулась, круглые глаза смотрели с раздражением.

– Ты свою рябинку узнаешь на вкус. Ведь узнаешь же? Вы же родичи...

Сова наклонила голову, прищурилась, мол, говори, говори, пока слушаю.

– Я клянусь, что видела их. Три деревца на склоне. Юные совсем, тонкокожие, сплелись стволами, ветвями обнялись... Они?

– Были когда-то... Давно. А потом не стало. – Она скрипуче потянулась, из рукава показала пухлая женская ладошка. – Дай посмотрю.

Ягоды скатились из Лесиных пальцев. Сова поднесла их к лицу, шумно вдохнула, задержала дыхание, выдохнула медленно, будто смакуя. Покачала головой, зашуршали перья. Потом осторожно взяла мятую ягодку губами, раздавила, даже не поморщилась от горечи – напротив, блаженно прикрыла глаза. Без их желтого сияния стало легче дышать. Леся позволила себе пошевелиться, прогоняя стылую ломоту. Сова все стояла, зажмурившись, и никто не

решался прервать ее молчание. Наконец она подняла тяжелые веки, зыркнула на Лесю, во взгляде больше не было ни злости, ни презрения, нечто иное теперь влажно блестело в нем. Интерес? Сомнение? Жажда познания?

– Заберем чужаков к себе, пусть Бобур решает, наша ли ягода или морок какой... – наконец решила она.

Дорожка из леса, готовая было оборваться, вновь запетляла под Лесиными ногами. Она послушно кивнула, попятилась к Лежке.

– Вставай. – И тот вскочил, покачнулся, но устоял на ногах.

У камня завозилась мертвая, ей хватило ума не спорить, слишком уж выразительно рычал кабан, топчущийся рядом с ней. Так они и пошли: впереди сова, ни слова больше не проронившая, за ней волчица, следом Леся, поддерживая на ходу ослабевшего Лежку, мертвая не отставала, подгоняемая тяжелой поступью кабана. А за кустами, в переплетении валежника, скользя между корягами бурелома, неотступно следовала за ними та, что несла на себе корону рогов, ей не принадлежащих.

## Поляша

Что за твари такие косматые пришли по их честь, Поляша поняла сразу. От зверя пахнет яростью, кровью, неизбывным голодом. От перевертыша – болью, потом, человеческим страхом и волчьей злобой. От них же пахло безумием. Воняло сильнее, чем гнилью от девки. Сильнее, чем смертью от самой Поляши.

Безумные, натянувшие звериные маски. Безумные, решившие, что это сделает их сильнее и мудрее. Безумные, жалкие в своих попытках обрести хоть что-то взамен утерянному.

– Не буди Лихо, – бросил один, а Поля с трудом сдержала хохот.

Что знал он про Лихо? Про седые космы, спускающиеся к самой земле, обвивающие костлявое тело – всё в соре, ветках и сухих птичьих косточках. Про длинные руки, слепо протянутые вперед, про жадные пальцы, ощупывающие все на пути своем, будто есть в них особая злая воля. Про высокий лоб, весь испещренный руслами морщин, и глаз, которым он увенчан. Как любая тварь бежит, прощается с жалким своим существованием, когда видит в темноте зрачка его – смерть, в пелене взгляда его – голод.

Лихо одноглазое идет по лесу, и бурелом скрипит под ним, и пахнет тленом, и пахнет страхом. Смертью пахнет. Встретит Лихо зверя – и не станет зверя. Встретит тварь болотную – и не станет твари. Встретит человека – высосет из него всю силу, всю память, все тепло, а пустую оболочку обгрызет до костей, а кости повесит на шею, будут они стучать на ходу, чтобы каждый слышал: то Лихо одноглазое идет, берегись его. Берегись.

Если бы знал безумец в птичьем наряде про Лихо. Если бы слышал хруст да стук. Если бы чуял смрад. Если бы только раз увидел Лихо мельком. Никогда бы не помянул его в лесной ночи посреди чащи. Только безумец кличет Лихо, пока нет его. А коли кликнул, так самого его и не станет.

Смеяться над ними расхотелось, когда послушный приказу кинжал вспыхнул во тьме влажной сталью. Девка что-то лепетала, укрывая совсем уж никчемного мальчика, который ни на вид, ни на вкус не был схож с лесным родом, как Поляша ни присматривалась. Безумцы девку не слушали, утапывали грязь овражьего дна, пыхтели и спорили. Одного сопения крепыша с кабаньей мордой хватило бы, чтобы накликать в гости голодных волков, а то и медведя сонного. Пока им до странности везло. Лес продолжал скрывать овраг стволами-спинами, будто был у него план получше, чем пустить безумцев на корм да гниль.

Поляша все посматривала по сторонам, прикидывала, как бы так ловко скользнуть в сторону, раствориться в сумраке и тумане, пробраться между скорченных палых веток и лапищ, выбраться наружу да припустить к озеру что есть сил в истерзанных ногах. Но кабан стерег ее исправно. Стоило пошевелиться, как он впивался угольками глаз, мерцающими в провале маски, и глухо рычал.

Так и хотелось спросить его: кто он, откуда пришел, чьего рода будет и какая нелегкая принесла его на чужую землю, внушила называть своей? Но Поляша послушно прикивала к камню, ждала, когда все как-нибудь да решится.

Решилось. Шустрая девка заболтала безумцев, задурила их, как детей малых. Ягодки им рябиновые сунула, будто великий дар. Да мало ли где сорвали их? Мало ли что привиделось дуре, ряженной в мертвые перья. Что совой у безумцев кличут бабу, Поля быстро смекнула, сморщилась, сплюнула на землю.

Безумие – мужская хворь. Женщине с избытком даровано испытаний, чтобы терять главное из оружий. Силу разума и хитрости, мудрость жизни, власть опыта. Рассудок всегда остается с той, что едина с миром, лесом, землей и водой. За непрерывность связи плачено кровью. Каждая новая луна встречается с подношением, с каждой луной говорят на языке, понятном

лишь женщинам. А тут гляди-ка, обрядилась в перья, кудахчет как курица. Так еще и решать берется, кому жить, кому умирать.

Но спорить Поляша не спешила. Покорно встала, покорно пошла, куда повели. По дороге, петляющей между валунами, что могучим паводком занесло в самую низину, через бурелом и колючие заросли, по влажному мху и острым кочкам. Крутые склоны оврага нависали над ними, сам он сузился – двое не разойдутся. За спиной пыхтел неповоротливый кабан, Поляша чувала жар его тела своим, и в сгустившейся промозглости ночи ей вдруг захотелось согреться чужим теплом. Давно уже Поляша не скидывала лебяжьи перья, давно не мерзла в людском обличье. А тут озябшими пятками да по холодной земле, когда позади идет жаркое и злое. В животе вдруг заныло давно забытое.

Поля со всех сил сжала кулаки, отросшие когти впились в мягкое. Если уж тебе тут холодно да одиноко, крыса ты болотная, так представь, как сыну твоему страшно под землей да в топи. Пока ты злишься, мерзнешь, смотришь на кабанье раскаленное тело, он там умирает, умер почти. Сука ты течная. Мерзко быть тобой, мерзко.

Идущая впереди девка будто услышала ее, глянула быстро, вспыхнули во тьме два лесных огонька, может, и сказала бы чего, да они уже пришли, остановилась ряженая дура, рыкнул тот, кто скрывался под волчьей шкурой. Но свет, прозрачный, отдающий свежей листвою свет глаз долго еще горел перед Поляшей, нестерпимо и ярко, слишком живой и разумный для безродной девки, приговоренной к смерти в лесу.

Увесистый тычок в спину заставил Поляшу пройти еще немного и опуститься на влажную землю. Не было б тело ее таким же, застудилась бы до самой смерти, а тут ничего, холодно да мокро, но ничего. Девке пришлось хуже. Обернутая в драную шаль, она подобрала под себя ноги, и дрожь колотила ее так сильно, что зубы мелко выстукивали, а непослушные пальцы все никак не могли натянуть колючее полотно повыше, чтобы спрятать гусиную кожу плеч и тонкой шеи. Ослабевший от борьбы и страха Лежка потянулся было помочь, но кабан рыкнул, и мальчик затих, безжизненный и равнодушный. Вся прыть их иссякла. Дети оказались простыми детьми. Сколько бы ни скалились в погожий полдень. Сколько бы ни наводили тень на плетень. От этого Поляше стало теплее.

– Оставим здесь? До рассвета еще далеко.

Спрятанный за волчьей мордой наклонился к сове, та приподнялась на носочки, чтобы расслышать его шепот. Поляше даже прислушиваться нужды не было – любая тварь, обитающая в лесу, умеет разобрать, о чем шуршат мыши в норе, иначе как выжить, как выстоять против тьмы и голода?

Сова коротко кивнула, ухнула почти, будто на детском утреннике, чтобы все поверили: не сумасшедшая баба она в куриных перьях, а чудище лесное. Поля сморщила нос, отвела глаза. Смотреть на маскарад безумцев ей наскучило. Время медленно, но неотвратно ускользало. Дана была седмица, первый день на исходе, ночь вот-вот перевалит за половину, а она сидит на дне оврага, пока у груди остывает память о сыне.

– Холодно тут, нам бы погреться, – просяще проговорила девка, вся из себя кротость, вся простота.

– Может, тебя покормить еще? – Сова зашлась каркающим смехом.

– Еда у нас есть, нам бы огня... – Лежка совсем осип, смотрел загнанно, увидел бы Батюшка – высек до крови.

Сова вскинулась, даже перья на куртке взъерошились, будто настоящие, но ответить не успела. Из зарослей бузины неслышно выскользнула та, что носила олени рога.

– До рассвета да без огня? Все мы тут околеем. – Голос ее звучал тихо, но уверенно.

Волк не стал дожидаться ответа и быстро скрылся в буреломе, отправился на поиски сухих веток для костра. В его покорности Поляше почудилась верность иного рода, чем при-

вычные лесу права сильного над слабым. Она насмешливо скривилась, благо тьма скрывала ее от глаз кабана, не отходящего ни на шаг, пылающего гневом и упоительным жаром.

– Благодарю вас, – прошептала девка, даже голову склонила и голосом не дрогнула, пряча смех. То ли правда поверила в силу ряженных, то ли выдумала себе план спасения. Кто в ночи разберет?

Огонь развели споро. Волк вернулся с охапкой сухого валежника, Лежка выудил из мешка зажигалку, одну из тех, видать, что Батюшка приносил из города. Поля тут же вспомнила, как кривилась Аксинья, даже в руки отказывалась брать городскую пакость, – но кто спросит глупую бабу, когда Хозяин уже все решил? Костер вспыхнул ярко, зацедил в небо витком дыма, заиграл на ветру, но быстро успокоился. Потянулись к теплу онемевшие руки, заблестели во тьме глаза, замерцало в них живое пламя. Только сова оставалась в стороне, зябко подрагивала перьями, топталась, поглядывала нехотя, с тайной завистью.

– С чужаками огонь делить... – бормотала она. – Со смертниками...

– Коли ты нас не приговорила еще, так разреши в ночи не замерзнуть, – ответила ей Леся, распахнув шаль; на груди мерцал оберег с медуницей.

– Не мне приговаривать, на рассвете само решится.

– Вот на рассвете и поговорим. – Девка широко улыбнулась, протянула руку. – Подойди ближе, тепло тут, хорошо... Что тебе мерзнуть?

Сова зло насупилась, но шагнула к огню, бочком-бочком – и уже оказалась рядом, присела на камень, прищурилась, разомлела. Поляша наблюдала за ними со стороны. От огня по лесному холоду расходилась обжигающая волна. Казалось, достаточно приблизиться хоть на шаг, и плоть, застывшая в миге умирания, вспомнит, сколько времени прошло с той кровавой ночи, и тут же начнет отходить от костей, сочась тошнотворной жижей. Тепло, сонное людское молчание, мигом примирившие их, согретых и живых, больно ударили Поляшу. Она медленно опустилась на мерзлый мох, позволила холоду подняться вверх по спине, перехватить горло. Так можно было поверить, что вода, текущая по щекам, – не слезы, а роса, выпавшая к рассвету.

...У костра молчали, дрема сковала тела. Тяжелые веки сами опускались; чтобы поднять их, требовалось много сил, столько у Поляши не было. Озябшее без лебяжьего пуха тело, будто чужеродное, никому не принадлежавшее до конца, отстраненно погружалось в раскисшую грязь.

Щелочкой приоткрытых глаз Поляша увидела, как склоняется к груди голова пришедшей девки, как жметса она плечом к плечу лесного сына. Злость разлилась внутри мертвого тела – нежности, трепещущей как пойманная в силочка птичка, не место в засыпающем лесу. Поляша стряхнула с себя сон, оперлась было рукой, чтобы подняться, но ладонь поехала по склизкой грязи. Жадно чавкнуло, опасно пахнуло гнилью.

Болото подобралось с северной стороны, тихо-тихо проползло через устье оврага, растеклось по дну. Там, где при свете дня еще можно было пройти, не промочив ноги, теперь пузырилась густая жижа, дно оврага подернулось болотной дымкой, вот-вот замерцают голодные огоньки – предвестники большой беды.

– Вставайте, – прошипела Поляша, медленно, чтобы не привлечь топь, приблизилась к костру. Тот больше не обжигал, ослабевший, он начал чадить, низко опустился к земле, готовясь потухнуть в плотном тумане, окутавшем все вокруг.

Первой очнулась пришедшая девка. Открыла глаза, взглянула рассеянно, но собралась, пихнула плечом Лежку, тот дернулся, повалился на бок, прямо в туман, вынырнул из него, как из полыни, и тут же вскочил.

– Откуда? – спросил он, голос звучал приглушенно. – Не было же.

– А теперь есть, – оборвал его волк, успевший подняться и затоптать умирающий костер. – Здесь так – задремлешь в лесу, проснешься в болоте. Уходим.

Заспанная сова повела их через туман. Ее упитанное тело с трудом переваливалось с кочки на кочку, ноги в коротких сапожках соскальзывали в мутную жижу. Олениха подхватывала ее за рукав, вытягивала на твердое, все беззвучно, все не глядя почти. Будто всегда они так и жили – шли по болоту, разрезая собой туман, убегая прочь от гнили. Но куда, если она повсюду? Поляша нащупала в тайном карманчике деревянный листок. Неважно это, неважно. Скоро проснется суженый ее. Скоро пробудится. Если безумцы придут к его берегам, если попросят. Он примет их. Будут жить в покое. Два Хозяина да она – берегиня, одному жена, другому мать. А эти... Что с них возьмешь?

Вот идут они, чавкают грязью, вязнут в топи и не знают, что спасение их – в детской выдумке, поделке неловкой. В деревянном листочке. Надо же, как смешно все бывает, как глупо, как истинно.

– Нужно бежать. – Громкий шепот Лежки, казалось, разнесся по всему лесу. – Они нас в болото уведут, обратной дороги не сыщем.

Кабан за их спинами только-только сумел выдернуть сапог из трясины и теперь прыгал на одной ноге, вытрясывая из голенища тину.

– Обратной дороги у нас нет, – шикнула Поляша. – Зато у них есть ножи. Мы пока идем, куда нам надо. А как свернем, так и посмотрим. Не мельтеши.

Мальчик нехотя кивнул, отстал на полшага, чтобы пришедшая девка их догнала.

– Нас не тронут, – с уверенностью сказала та, будто детей малых успокоила. – Я точно знаю.

Так и хотелось подскочить к ней, схватить за лохмы, встряхнуть как следует. Ишь, заговорила безумицу в перьях разок, а теперь мнит из себя ведающую да разумную. Давно ли сама по лесу скакала голоногая? Давно ли попала в лапы к лесному роду, не гостья, а корм болотный?

Но кабан уже натянул сапог на толстую лодыжку, подтянул ремешки, распрямился – глянул недобро через прорези в пасти. Девка взяла протянутую Лежкой руку и покорно зашагала вперед. Смотреть на них было мукой. Разбираться, что за боль такая, что за тоска ворочается внутри, – опасно. Поляша подхватила драные полы савана и скользнула с кочки на кочку. Становилось суше. Гниль отступала, туман лениво колыхался позади, плотный, как разбавленное мутной водой молоко. Они выбирались из болотины, и та провожала их равнодушным взглядом мерцающих огоньков. Бегите, мол, бегите, еще встретимся. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так после. Что мне время? А вам время – все.

Даже Поляшу, вечную, как все мертвое, тянуло обернуться, поглядеть, а не спешит ли за ними чудище, выползающее из трясины всеми своими лапами, когтями, отравленными жалами? Не спешило. Дремало на дне, булькало чуть слышно. Бегите, мол. И они бежали, позорно, как умеет лишь человек.

Когда из-за переплетенных сухих веток выглянул слабый, будто морозный, солнечный луч, сова бросила на землю мешок и сама тяжело опустилась на него.

– Отдохнем.

Дышала она со всхлипом, отирала покрасневшееся лицо. Олениха присела рядом, вытащила из кармана лоскуток чего-то серого, когда-то бывшего холстом, отерла товарке влажный лоб под обручем, что весь был обклеен перьями. Осторожная, невесомая в своих движениях. Сложно было поверить, что это она в ночи тащила их по склону оврага, готовая разорвать за непослушание.

– Нам долго еще?.. – спросил Лежка, не решаясь обратиться к кому-то, а потому не встречаясь ни с кем глазами.

– Почти пришли.



В пробивающемся между деревьев свете волк перестал видаться могучим, скорее – ладно сложенным. Накинутая на плечи шкура оказалась линялой, а морда, скрывающая лицо, так и вовсе скукоженной от времени и сырости. Не зверь лесной, а чучело огородное.

– Куда пришли-то? – не успокаивался Лежка. – Кругами ходим. Как были в овраге, так и остались...

Сова подняла на него блюда глаз, посмотрела пристально. Ее маленький плотно сжатый рот и правда походил на клюв.

– Тебя мы и вовсе никуда не вели. За ночь эту, что живым пробыл, девку благодари. – Нашла Лесю тяжелым взглядом. – Дальше со мной пойдешь. Одна. Эти здесь подождут, а мы пойдем знакомиться... – Уперлась ладонями в тугие колени, поднялась. – Коли правда наша рябинка, один разговор будет, коли сорвала где да мне соврала... Другой.

Леся слушала ее, чуть наклонив голову вбок, словно тоже птица. И получилось это у нее куда лучше, чем у ряженой. Тонконогая, в свисающей складками чужой одежде, со сбитыми в колтун волосами, она вдруг стала похожа на выбравшуюся из трясины молодую цаплю. Не знай Поля, откуда взялась тут девка эта, решила бы, что наткнулась в чаще на перевертыша. Но морок рассеялся, стоило мальчишке схватить ее за руку, с силой дернуть к себе, заслонить хилым плечом.

– Никуда она без меня не пойдет, – вспыхнул он, жаркие пятна поползли по нежным щекам. – Не пушу...

– А ты ей кто, защитничек? Брат? Сват? Указ? – Сова закинула мешок на спину, всколыхнув перья у ворота, пахло сырым птичьим духом.

Лежка открыл было рот, но ответить не успел. Девка мягко отстранилась, глянула быстро, улыбнулась краешком губ, даже не сказала ничего, а он уже отступил, привычный к молчаливой ворожбе. Поля и сама обучилась ей, пока жила под крышей лесного дома. Тут улыбнуться, тут промолчать глубоко и весомо, тут пробежать пальцами по окаменевшей щеке – тише, тише, большой мой, могучий человек, все по-твоему будет, только твое – это мое теперь. И исчезали борозды морщин с лица Батюшки, и опускался мех на загривке молодого волка. Но то сила жены, а не безумицы. Интересные дела творятся в засыпающем лесу, хоть бери да записывай, только кто прочтет их? Твари болотные грамоте не обучены.

– Пойдем, – легко согласилась Леся, заворачиваясь в шаль. – Холодно на рассвете стоять, может, в дороге согреемся.

Сова ухмыльнулась, не ответила, развернулась ловко и заковыляла на корявых ножках через бурелом. Поля все ждала, что девка оглянется, нарушит закон пути, начатого в лесу, посмотрит жалобно, взмахнет рукой, прощаясь. Но она шагала вслед за совой, вся – пунктир, безумный, а потому бесстрашный.

Лежка долго еще стоял на краю вытоптанной ими прогалины, ловя между изломанных стволов кокон из драной шали и спутанных волос. А кабан пока натаскал веток, по-хозяйски залез в чужой мешок, выудил зажигалку, но увидел мешочек с сухарями и тут же бросил возиться с костром, а сел на корягу и принялся развязывать узел.

– Верни чужое.

Олениха возникла за его спиной будто из ниоткуда. Положила руку на мешок, потянула к себе.

– Мы их нашли. Все, что было с ними, наше теперь, – буркнул кабан, но спорить не стал.

– Забери, нам вашего не нужно, – сказала олениха и бросила мешок Поле.

Он взлетел в воздух и приземлился прямо у ее босых ног. Пришлось отскочить в сторону. Боль, от которой вышло увернуться, эхом пронеслась по телу, почти вырвалась стоном изо рта, стала костным скрипом острых зубов. Олениха посмотрела с интересом, но не спросила ничего. Была бы здешняя, сама бы поняла, что не Поляшина то вещица – лесная, а лесное для мертвого как огонь для сухостоя.

– Подними, – окликнула Поляша мальчишку.

Тот смешался, наклонился неловко, поднял мешок, прижал к груди. Вдохнул глубоко, видать, помнил еще, чем пахло в доме, когда свежий хлеб показывался из печи. Поляша не помнила. Не хотела помнить. Заставила себя забыть сразу же, как очнулась у озера. Не женщиной, а лебедицей. И запах хлеба, и сладость свежей постели, и вкус молока, и звук, с которым выплескивается студеная вода из переполненного ведерка.

Давно уже Поляша не ела человеческой еды, не ломала хлеба, не грызла сухаря. Где достать их в чаще? Как взять лебединым крылом? А тут вот же – руку протяни. Мальчишка как раз развязал тесемку, покопался в мешке и вытащил здоровенный ломоть. Длинный – в срез хлебной буханки, но тонкий, на просвет золотистый. Пахнуло дрожжевым духом, теплом и сытостью. Поля с трудом сглотнула горькую слюну.

– Будешь? – Лежка поймал ее голодный взгляд, будто забыл, кто перед ним.

«Совсем с ума сошел, мальчишка? Я берегиня! Озера Великого невеста, а ты мне – хлеб?» – хотела оборвать его Поляша, но вместо этого поспешно выхватила из теплых пальцев крошащийся кусок и засунула в рот.

Язык обожгло. Закипела слюна, гнилостно обложило небо, заскрипел на зубах песок, забулькала болотная жижа. Поля согнулась, выплюнула скользкий комок на землю, хлеб вышел слизистой кашицей с прожилками тины и гнилой плоти. Из глаз потекло, забило нос, заложило глотку. Она все плевала и плевала, выворачивалась наружу, чтобы исторгнуть из себя все, до последней крошки. Мальчик смотрел на нее с ужасом. Будто забыл, что перед ним не просто тетка его пропавшая, а тетка умершая, истекшая кровью так давно, что и не вспомнить. Его взгляд прожигал в Поляше дыры, она с усилием распрямилась, обтерла рукавом лицо. С нее не сводили глаз все живые, что топтались на прогалине, не зная, куда деться бы, куда пропасть, пока она тут блюет болотом, хоть в рот положила сухой хлеб.

– Не в то горло попало, – прохрипела она.

Рассветная тишина между ними зазвенела напряженным ожиданием ответа. Хоть какого-нибудь. Поляша готова была припустить по дну оврага, не дожидаясь, пока стоящие напротив решат, а не придушить ли мертвую гадину. Вдруг смерть ее заразна? Вдруг приманит другие смерти? Их, например. Когда под ногами кабана заскрипели ветки, она почти уже прыгнула в бурелом, как подстреленная куница, но вместо грозного рыка, проклятий, угроз и оглушительного свиста, с которым кулак рассекает воздух, раздался хохот. Кабан сложился пополам и захохотал, из-под маски к подбородку потекли слезы. Этот высокий смех, этот безволосый подбородок, и шея, короткая, но ровная, без яблочка кадыка под кожей, заставили Полю приглядеться внимательнее.

Под кабаньей шкурой, накинута поверх куртки, пряталось женское тело. Крупное, плотно сбитое, приземистое и кряжистое, как изуродованный пенек, но женское. И угольки глаз в провале мертвой пасти тоже были женскими – грозными, злобными, с жесткой щеточкой густых ресниц. Поля скосила взгляд, выхватила из рассветной хмари волка, вдохнула его запах – мокрой шерсти, псины, собачьей тоски. И снова женский дух – тоска по несбывшемуся, спящая в глубине жизнь, которой не дали шанса завязаться, осторожная нежность, пустые надежды.

Волчица. Кабаниха. Олениха.

Все вмиг стало яснее и запутаннее.

Олениха. Кабаниха. Волчица.

Поля с трудом удержала в себе удивленный возглас, улыбнулась криво на затихший смех, мол, вот и ладно, вот и весело нам. Глянула на Лежку: понял ли? Не понял, конечно. Куда ему, слепцу эдакому.

– Долго ждать их? – спросила, присаживаясь на корягу.

– Как вернуться, так и скажу, долго ли. – Волчица присела рядом, опустила на землю перед собой мешок, достала консервную банку. – Тушенку будешь?

Вот тебе и лесные жители, вот тебе и овражки твари. Городские пожаловали. Лес без Хозяина – двор проходной. Поляша покачала головой: нет, не буду. А мальчик согласился. Достали нож, вскрыли банку, еще одну и еще. Сухари сошли за ложки. Ели в тишине.

Поля ловила мясной дух, повисший над прогалиной, ноздри жадно втягивали его, но гниль, оставшаяся во рту от хлеба, отбивала всякий интерес к человеческой еде. Она нашла в мешке флягу с водой, отвернулась, перекинула ноги через ветку, сделала глоток, сполоснула рот, выплюнула. Гнилью запахло еще сильнее. Склизкие ошметки поблескивали в траве. Тошнота ворочалась в желудке, царапала горло.

– Болотом тянет, не могу... – пожаловалась кабаниха, обтирая раскисшим сухарем жирное нутро банки.

Поля спрыгнула на землю, отошла в сторону, глотнула еще, сплюнула. Гнили почти не осталось. Так, крошки одни. Но болотный дух стал еще гуще, смешался с мясным, отравляя всякое желание есть. Поля засунула в рот палец, прошлась по острым зубам, по языку и небу, поднесла к носу, ничего не почувствовала. Гнилью несло не от нее. Так могло смердеть только болото, самая трясина, старая, глухая, прожорливая. Но земля оставалась твердой. Не хлюпало, не журчало, не пыхало.

Мягко выпали из рук опустошенные банки тушенки, вскочили на ноги те, кто успел полакомиться их переваренным нутром. Поля взмахнула рукой, и они застыли, послушные и испуганные, как дети, потерявшиеся в лесу. Они и были ими – глупыми детьми. Несчастными, приговоренными. Потому что между деревьев, сквозь бурелом, поваленные коряги, сухие заросли бирючины и ковер иглицы разносился сухой стук.

Так бьются друг об друга обглоданные косточки, когда висят они на шее у Лиха одноглазого. Кто услышит их, тому и умирать.

## Олеся

Идти по бурелому в рассветных сумерках было сложно. Под ноги, будто из ниоткуда, то и дело подворачивались сухие коряги, острые ветки норовили оцарапать лицо, хлестнуть по глазам, да посильнее, чтобы до крови, до слепоты самой. Леся уворачивалась молча, заслонялась локтем, отталкивала от себя валежник, словно чужие руки в толпе. Сова и не думала ее дожидаться, шла вперед, всклокоченная, ну точно недовольная птица.

А за ней тянулась, разворачивалась тоненькая ниточка пути, который должен был вывести Лесю из чащи. Знание это, непреложное, пусть и не подтвержденное ничем, как все происходящее с нею, грело Лесю куда сильнее драной шали. Знай себе пробирайся сквозь бурелом за коротышкой в птичьих перьях, а там на месте все само сложится. Ведь складывалось же раньше. И тут сложится.

Все бы ничего, только бедро при каждом шаге наливалось острой болью. Леся чувствовала, как прилипает к коже промокшая в крови и гнили повязка. Страх вворачивался в нутро, сбегал вниз по позвоночнику липким потом. Заражение, воспаление, гангрена. Ампутация. Слова доносились с другой стороны сознания, оттуда, где ночные плутания по лесу в компании сумасшедших никак не хотели вписываться в границы нормального.

– Чего мнешься? – наконец заметила сова и остановилась. – Вон какая смелая была, а как ушли с поляны, так все, страшно стало?

Совы Леся не боялась. И бурелом ее не страшил. А вот пульс, бьющийся в глубине нарыва, пугал до обмякших ног.

– Долго нам еще? – Губы слушались плохо.

– До Бобура-то? – Сова прищурилась. – Почти пришли. Или передумала? Скажешь, где рябинку нашла, тут все и закончим. Его тебе не обмануть, мала еще.

Ее бормотания с трудом пробивали обморочную пелену. Леся пошатнулась, взмахнула руками, чтобы не упасть, но повалилась бы, не ухвати ее за плечи сова.

– Горишь вся! – закудахтала она, теряя всякую суровость. – Простыла? Знобит?

– Нога... – только и сумела проговорить Леся, и пелена, плотная, как молочный туман, заволокла все кругом.

Через нее, будто сквозь ватную паутинку, можно было смотреть со стороны, как сова укладывает обмякшее девичье тело на землю среди веток и палой сухости, как ощупывает его неожиданно ловкими руками – лоб, затылок, шею, плечи, ребра, по одному в пересчет, особенно те, что неприкрепленные, надавливает на живот, там мягко и податливо, можно дальше, к тазу, по костям вниз. Бедро. Пальцы не дрожат, когда нащупывают повязку, замирают над ней, будто в предвкушении. Широкая штанина легко задирается, узел поддается, грязная ткань отклеивается от воспаленной кожи. Сова, нет, уже не сова, женщина средних лет морщит лоб, наклоняется, нюхает, качает головой. Тянется к мешку, который упрямо тащила на поясе, долго возится в нем, чем-то позвякивает, шуршит, достает сверток, разворачивает целлофан, аккуратно раскладывает перед собой. Одноразовые шприцы, спиртовые салфетки, ампулы. Пробегаёт по ним пальцами, как изголодавшийся по клавишам пианист. Позволяет себе короткую секунду слабости, на лице предвкушение. Нелепые перья липнут к вспотевшему лбу. Она смахивает их локтем. Скрипит разорванная упаковка салфетки. Остро пахнет спиртом. Лес неодобрительно склоняется над ними, скорчившимися на земле, подглядывает сотней глаз, но не мешает. Ампула лишается головы, шприц легко набирает ее содержимое, движения отработанны и просты. Игла входит в мякоть бедра. Ни боли, ни всхлипа.

Леся успела почувствовать только холод прикосновений, потом в нос ударило чем-то пронзительным, и она открыла глаза. Сова смотрела осуждающе.

– Мама тебя не учила, что ранки надо промывать? – спросила она, опасно нависая над Лесей. – Особенно рваные. Особенно в лесу.

Может, и учила, да кто же теперь вспомнит. Вместо ответа Леся попыталась встать, но сильные руки уложили ее обратно.

– Надо промыть как следует, а нечем. Хорошо у меня с собой ампициллин. Что смогу – сделаю, но тебе бы к врачу.

Перья покачивались в такт ее словам, будто маленькие китайские божки. В буреломе кто-то завозился, застучал, захрустел ветками, но далеко, не опасно, они даже не повернулись на звук, мало ли, пусть идет себе. Своей дорогой.

– Я к врачу и шла, – буркнула Леся, устраиваясь поудобнее. – А тут вы... С рябинкой вашей.

Сова не ответила, пристроилась на корточках, снова пахло спиртом и скорой болью.

– Только не ори, – предупредила она. – А то весь лес сбежится. Не буди лихо...

– Пока оно тихо. Давай уже. – Леся вдохнула поглубже и закрыла глаза.

Боль вспыхнула ярко и остро, ослепила, но тут же отхлынула. Через опущенные веки Леся видела, как в ломаной рамке сухих веток светлеет над ней лоскуток неба. Бесконечная, глубокая синь. Темные росчерки мертвого дерева, которое держат на весу такие же мертвые его собратья. За границами оврага наливался зеленью лес, засыпающий, еще живой, здесь же все было то топким, то сухим, но пришедшим к концу. Умелые руки женщины в совином обличье вымывали из Лесиной раны гной и умертвие, пока сама она рассветала вместе с небом, тянулась к нему вместе с ветками, а они все больше походили на руки. Тонкие запястья, изможденные кости, пальцы, слишком длинные, чтобы быть человеческими. Птичьи когти, выпачканные в земле и крови. Миг. И небо налилось чернильной мглой. Второй. И багровые пятна расплылись по небу. Третий. И они забились в такт Лесиному сердцу.

Она рванулась в сторону, закричала, изо рта вырвался только хрип.

– Тихо, тихо, лежи!.. – запричитала над ней сова.

Небо снова стало утренним и свежим. Ветки – ветками. Сухие деревья – простым буреломом. Ни тебе рук, ни тебе когтей, ни тебе кровавых омутов.

Сова смотрела на Лесю испуганно, будто знала, что не от боли так мечется она, а от страха, но ничего не сказала. Затянула концы свежей повязки, собрала в узелок грязные бинты и салфетки, аккуратно завернула и спрятала в мешок драгоценный сверток с ампулами.

– Жить будешь, заражения большого нет. Но к врачу надо. Промыть хорошо, может, зашить. Антибиотиков курс доколоть. Кровь на биохимию, мало ли что...

– Я сделаю! Мне бы только из леса выбраться, – проговорила Леся, поднимаясь, голову чуть вело в сторону, но обморочная пелена отступила. – Знаешь дорогу?

Сова бросила на нее испытующий взгляд. Ухмыльнулась.

– Ту, по которой я сюда пришла, знаю. Но по ней обратно не вернешься. – Дернула мешок, проверяя на крепость застежку. – А пока по моей пойдем. Не из леса, так к Бобуру. Не отставай.

Чем дальше они шли, тем непроходимее становился бурелом. Мелкий гнус кружил над землей, прилипал к вспотевшей коже, жалил и мерзко пищал. Леся натянула шаль до самых ушей, спрятала щеки и шею, мошकारа путалась в волосах, лезла в нос и глаза.

– По краю болота идем, вот и выются, – сказала ей сова, пошарила в кармане куртки, достала помятый пучок травы, перехваченной медицинской резинкой. – Разотри в пальцах, отгонит чуток.

Маленькие листки на пушистой веточке пахли остро и знакомо. Они легко превратились в пыль. Леся поднесла руку к лицу, вдохнула поглубже.

Мама в домашнем халате. Длинные концы развязанного пояса подметают пол. Она подхватывает один и засовывает в карман. Откидывает голову и смеется, подмигивает Лесе. Мамины волосы подстрижены коротко, ежик смешно топорщится, от этого шея кажется совсем

тонкой. Мама наклоняется, позволяет провести ладошкой по колючей макушке. Леся гладит маму по голове и тоже хохочет, но тихонько, чтобы не разбудить бабушку.

Картошка уже почищена и плавает в кастрюле с холодной водой. Мама тычет пальцами в их белые бока, и они уходят на дно, но каждый раз всплывают. Лесе становится скучно, она дергает за тряпичный пояс. Раз. Другой. Мама стряхивает с себя оцепенение и начинает кружить по кухне. Тяжелая бутылка масла с грохотом валится с полки, но не раскалывается, а катится по полу. Леся спрыгивает с табурета, ловит ее, прижимает к груди.

– Надо смешать масло и розмарин, – говорит мама. – Роз-ма-рин.

У Леси в садике есть и Роза, и Марина, обе вредные и некрасивые. Одна рыжая с огромной родинкой на шее, другая рыхлая и любит щипаться. Поэтому Леся расстраивается, но мама открывает шкафчик, и оттуда пахнет так странно и прекрасно, что все расстройство исчезает.

– Слышишь? – говорит мама. – Сосной пахнет, как в лесу. В лесу. Вот ты – Леся, а он – лес.

Хочется дышать глубоко и часто. И Леся дышит, даже голова начинает кружиться. И мама тоже дышит. Они сидят за столом, в кастрюле тонут обглоданные картофелины, весь пол в очистках и подтеках оливкового масла, за стеной уже проснулась бабушка, теперь она ищет тапки, чтобы прийти и разогнать их с мамой по постелям. А они сидят и дышат смесью леса и таинственных трав, живущих в верхнем шкафчике кухни, и нет ничего важнее этого.

– Пойдем, говорю, – тянет Лесю за руку сова.

Первой померкла кухня, забирая с собой утонувшую картошку, следом за ней мама – безумная улыбка, стеклянные глаза, короткий ежик волос и распахнутый плюшевый халат. Остался только запах: пряная сосна, иноземная и острая.

– Роза и Марина. Роз-ма-рин, – повторила Леся и послушно зашагала дальше.

Дорожка вела их все выше, мягко уводила со дна оврага. Пробравшись через валежник, исцарапанные и измученные, они выбрались наверх, оставив за спиной покатый склон, поросший жестким багульником.

– Теперь уже немного осталось, – пробормотала сова и зашепила к темнеющему впереди еловому бору. – Вон туда нам, пошли скорее.

Тропа, петляющая между стволов и низких лапищ, была хоженной. Ни тебе упавших веток, ни кочек с низинами, затопленными холодной жижей. Они легко пересекли узкий перелесок и вышли наконец к поляне. Глаза, привыкшие к полутьме, заслезились от солнца, забравшегося в зенит. Леся обтерла лоб, сощурилась, чтобы оглядеться, и, пока топталась в нерешительности, сова успела зайти ей за спину.

– Вот и пришли, – сказала она, переходя на шепот.

«Куда?» – хотела спросить Леся, но тут глаза привыкли к яркому свету, и вопросы отпали сами собой.

В центре поляны – вытянутого овала короткой, будто подстриженной, даже на вид острой травы цвета жженого сахара – стоял он.

– Бобур, – назвала его имя сова. – Поклонись.

Леся шагнула вперед, опустила голову, чуть прогнула спину.

Он не шелохнулся. Множество голов с огромными хоботами жались друг к другу, образуя круг. Хоботы одним концом лежали на земле, а другим устремлялись ввысь, каждый к своей голове. Только с самой вышины – там, где могучие переплетения, собирающиеся в тело его, истончались, образуя раскидистые короны, венчающие каждая свою голову, свое тело и раструб, – взлетела стая черных птиц.

– Вороны, – ревниво вздохнула сова. – Он любит воронов.

– Кто он?.. – Пересохший рот плохо слушался, язык так и норовил прилипнуть к небу.

– Бобур.



Больше ответа не нашлось, да и где искать его, если не в глубине воронок его хоботов, служащих ему опорой? Лесе захотелось подойти ближе, заглянуть в их призывную глубину, разглядеть во тьме нутро, может, закричать туда, чтобы услышать, как вторится эхом ее собственный голос. А может, услышать, как ворочается там могучая жизнь Бобура.

То ли чудище, то ли божество, то ли лесной гигант, то ли плод сумасшедшего зодчества. Он безмолвствовал и высился. Он наблюдал и выжидал.

– Пойдем, – подтолкнула Лесю сова. – Не смотреть пришли. Про рябинку расскажешь, уж ему-то не соврешь.

Как соврать безмолвному гиганту, Леся придумать не успела. Потому шагнула навстречу, широко распахнув объятия, будто к старому другу. Мол, смотри, нет во мне ни страха, ни желания обмануть. Сова шла позади, но быстро отстала. Леся того не заметила. Внутри нее зрело тепло, спокойное и ровное – не злого огня, а домашней печки. Острая трава щекотала ноги, боль в бедре утихла, усталость от бессонной ночи растеклась по телу приятной ломотой. Леся скользнула под раструб, обогнула второй, прикоснулась к третьему и опустилась между ними – в самой сердцевине чудища, которое чудищем и не было. Над головой Леси сходились в одно изогнутые лапы Бобура, чтобы взметнуться вверх кронами – пристанищами черных воронов, любимцев и умниц. Под Лесей мягко пружинила земля, рыхлая, но не вскопанная, влажная, но не топкая. Живая. Леся раскинула руки, ладони уперлись в плетеное тело гиганта.

– Здравствуй, это я, – шепнула Леся, готовая услышать ответ.

Рокочущий, раздающийся из ниоткуда и сразу отовсюду. Ответ и приговор. Истина, которая в одночасье изменит все. Гул всего леса. Шепот каждого листа в нем. Леся ждала, что на нее нападет внезапный и вещий сон, опустится туман, скрывающий сущее, открывающий иное.

Словом, случится хоть что-нибудь. Явное, скрытое, чуть уловимое, сбивающее с ног своей мощью. Что-нибудь, но только не то, что стало ей ответом.

Абсолютное ни-что.

## Волчий потрох

### Демьян

Под ногами хлюпало. Каждый шаг давался труднее предыдущего. Ботинки, неподходящие, слишком городские, с щегольскими замочками по бокам, погружались в жижу всей своей рифленой подошвой и вязли, вязли нещадно. Демьян выдергивал ногу из топи, а вторая уходила еще глубже. Перекрученные стволы осинки становились опорой – так, от одной к другой, Демьян и шел, беззвучно ругаясь себе под нос.

Хотелось послать все к черту. Прямо здесь, посреди болотистого перелеска. Оглянуться, вызнаться по мху, где тут север, и зашагать к краю чащи, выбраться на дорогу, обойдя серый дом по крутой дуге, остановить попутку, расплатиться деньгами, спрятанными на дне рюкзака, и через час оказаться на окраине города. Что положено делать, схоронив мать и сестру? Пить, наверное. Беспробудно. Вот этим и стоит заняться. А когда кровь в жилах медленно сменится на водку с пивом, можно отыскать в недрах города Катерину. Приползти к ней, упасть в ноги, заскулить. Бабье сердце мягкое, а любящее – так и вовсе как масло, потекшее на солнце. Катя простит. Катя примет. А там и в универе можно восстановиться. Делов-то. Ерунда. Так и надо поступить. Надо. Главное, решиться и уйти.

Пока Демьян пробирался через болотину, успел принять это решение с десятков раз. Каждый – крепкий. Каждый – прочный. Но продолжал шагать на восток, выдергивая себя из топи, пригибался к земле, срывал травинки, нюхал лишайник, бросал палочки, чтобы поглядеть, каким концом упадут. Словом, делал все, что велено, когда выискиваешь след. И след этот вел его куда угодно, но только не на север, по дуге от серого дома, к дороге и городу. Куда угодно, только не к Катерине – мягкой, теплой и живой. След был холодным и скользким, пах он скисшей кровью и старыми ранами. Теткой он пах. Поляшей.

Если кто знает, куда подевался родовой кинжал, если кто видел, где обронил его Хозяин, пока без памяти шел к дому, гонимый хмарью, так она.

– Найди кинжал, – сказала Матушка и умерла.

«Найди кинжал» – вместо прощания. Что говорят матери, покидая первенца? Я люблю тебя? Я горжусь тобой? Будь счастлив? Будь жив? Помни меня? Я прощаю тебя? Я прошу прощения? Что говорят простые женщины простым своим сыновьям? Демьян не знал. Ему, лесному и дикому, не было даровано обычной матери. Только Матушка.

«Найди кинжал», – сказала она и умерла.

Теперь хоть сам умри, но найди его. Демьян хотел бы плюнуть, растереть и забыть. Но обескровленные губы Матушки все шептали ему. Давали последний наказ. Найди, что обронил. Найди, что потерял. Найди. Найди.

– Волчий потрох, – ругался Демьян, пробираясь по болотине, оскальзываясь, пачкаясь в жирной грязи. – Чтобы сгинуло тут все, чтобы провалилось.

Можно было чертыхаться хоть до этой зари, хоть до следующей. Но кинжал следовало найти. Иначе не будет покоя. А как найдешь, так хоть огнем все пусть полыхает. Лежке всучить, хлопнуть брата по плечу: мол, не моя теперь это беда, братец, вот тебе отцовы регалии, правь мудро и процветай. Или сдохнете тут все к зиме. Свое дело я сделал. Кинжал нашел. Нашел кинжал. Вот он.

Демьян ощущал его тяжесть на поясе. Мог до трещинки, до самой малой потертости вспомнить рукоять в кожаной обмотке и острое лезвие, точенное сотни раз. А вот где обронил его – не помнил. Как с Полей говорил, как сгустилась над головою хмарь – помнил. А как побежал к дому – нет.

Демьян сорвал пушистую головку осоки, растер в пальцах, помолчал, закрыв глаза. Ну же, давай, Расскажи мне, болотина, Расскажи, где падаль твоя? По каким кочкам скачет? Болотина лениво всколыхнулась, закачала острыми спиральками ситника, не ответила, пахнула гнилью: мол, иди своей дорогой, зверь, не топчи меня, не буди. Демьян пересек топкую низину, взобрался повыше, положил руку на гладкий ствол ольхи – приземистой, скособоченной, с обглоданной у земли корой. Та сонно закачала сережками. Вижу, вижу тебя, лесной человек. Вижу, да нет сил с тобой говорить. Холодный сок медленно поднимался от затопленных корней к бледной листве. Плохо дело в лесу, где не в землю вырастают, а в топи тонут. Демьян огладил деревце, сглотнул тяжелый ком в горле.

Придется самому. Лещину он оставил позади, дом скрывался за ней. Демьян помнил: сразу за густым орешником начинался овраг – глубокий, но узкий, он уходил вниз покатыми склонами, которые вдруг обрывались на дно, вмиг становясь крутыми и неприступными. Там и в хорошие годы было темно и сыро. Жутко было в овраге, чего душой кривить.

Тетка Глаша страшила, что на дне свои жители, лесной Батюшка им не указ. А если пройти овраг от излучины до самого конца, то выйдешь к бору, а в бору том стоит чудище, овражки твари ему служат. Сказки сказками, а болото в низину точно забралось. Ни пройти там, ни проехать. Даже мертвая тетка не потащится. Демьян подошел к краю склона, глянул вниз. Туман поднимался со дна, вихрился, растекался по земле, как пролитое из кувшина молоко.

Если Поляша шла от дома к озеру, то мимо оврага, по краю, бочком. Так и нужно идти. Демьян поправил лямки рюкзака и двинулся на восток, держась подальше от склона, чтобы не выказать присутствия своего случайно сброшенным на дно комом влажной земли. Шел и думал, какая же странная, необъяснимая жизнь настигает любого, кто забирается в чащу.

Был обычный студент, ну нелюдимый, ну неотесанный. Но ведь как все был. Легко позабыл детство свое лесное. Как там говорится: всех нас ломают родители? Вот и его сломали, не сильнее других. Даже Катерине научился рассказывать, как жил в лесном доме. Он, родители, тетки, брат и сестры.

– Двоюродные? – спрашивала Катя, легонько улыбаясь.

Демьян вспоминал, как Батюшка выходил в ночи из спальни и шел к жене, любой, какую выберет.

– Сводные.

Ответ Катю устраивал, она улыбалась шире. Расспрашивала, как учились они.

– Дома и учились.

Как зимой жили.

– Печку топили, как же еще.

Что ели.

– Скотина у нас росла. Корову доили. Из города Батюшка привозил всякое. Опять же, лес под боком... Не бедствовали.

– Как ты папу интересно зовешь... – подхватывала Катерина. – Батюшка. Уважительно очень. Какой он?

Перед глазами тут же вспыхивал образ – широкие плечи, густая борода, грубые ладони, зубы крепкие.

– Большой. Сильный, – с трудом находился он.

Но Кате и этого хватало. Ей не нужно было многого. Ровно столько, сколько он давал.

– Зверь ты, Демьян, – сказала она на прощание. – И нет в тебе души.

Точно зверь. Оттого так легко тебе на воле, глупый хореk. Так вольготно в лесу. Так спокойно в чаще. Будто дома ты. Будто не будто. Все тут слышишь, все видишь. Вон хохочет в зарослях филин. Вон шуршит во мхе мелочь всякая ему на прокорм. Вон стонет кто-то на дне оврага. Скулит, как кутенок. Знакомый плач, а, волк? Или не волк ты, а человек? Чего же тогда замер, чего застыл на краю склона? Почему сжалось все, почему заскулило в ответ?

Куда сорвался ты, волк? Если хочешь найти кинжал, бросить под ноги брату и бежать, чего же тогда не за теткой своей мертвой спешаешь, а в овраг заболоченный? Уж не звериное ли в тебе клокочет? Уж не душа ли просыпается?

Демьян сбежал по склону оврага, споткнулся, удержался на ногах, но широкий камень, поросший темным мхом, зашатался, пришлось спрыгивать. Под ногами жадно хлюпнуло, мутная вода поднялась выше щиколоток. Первым желанием было дернуться, выскользнуть из топкого плена, но зверь в Деме утробно зарычал: стой. Чем больше трепыхаешься, тем глубже вязнешь. Демьян позволил болотине обхватить себя за голени, холод потек в ботинки, ступни тут же свело.

– Хорек мокрый... – сквозь зубы окатил себя бранью Демьян.

Потому что на дне оврага, затопленного болотом, не было ни единой живой души. Никого, кто скулил, плакался и звал на помощь. Только курица могла рвануть на писк цыпленка в кромешную топь, только отпетый дурак мог решить, что в низине есть кто-то еще, кроме призрачных огоньков да острозубой шишиги. Сидит себе в топи, тело шуплое прячет, наружу только мордой выглядывает. Тихо над болотиной. Нет никого. Дай, думает, поплачу, поскулю, авось придет кто, поглупей да помладше.

А пришел Демьян – Хозяин, поедом его поешь, леса.

Демьян обтер запотевший лоб, схватился за низкий сук деревца, измученного настолько, что не разобрать – осинка ли, ольха, вяз, может? Без имени, без сил стоит. Готовится умирать. Демьян осторожно вытянул ногу из топи, поискал, где посуше, опустил туда. Шаг за шагом, маленько-помаленьку. К утру авось и выберешься. Он успел обойти деревце, даже новое разглядеть, почти уже схватился за него, как позади забултыхалось, заскулило чуть слышно.

– Убью суку!.. – взвыл Демьян, обернулся рывком, погружаясь в болотину по середину икры. – Выходи! Выходи, кому говорю!

Но вместо круглых глаз шишиги, вместо рук ее цепких, вместо серой в чешую кожицы в низине бултыхалось что-то маленькое и мохнатое. Рвалось из топи, вязло все глубже, скулило, проглатывая гнилую воду распахнутой в страхе пастью. Волчонок тонул медленно, больше замерзая, чем захлебываясь. Но оставалось ему недолго.

Мало, но точно больше, чем нужно было Деме, чтобы рухнуть плашмя на живот прямо в грязь и жижу, подтянуться на руках и поползти к нему. Ледяная вода свела зубы, рубаха тут же промокла насквозь, прилипла к телу. Прохладная ночь вмиг стала ночью студеной. Демьян осторожно полз к волчонку, стараясь не испугать его еще больше. Не вышло. Зверек скосил налитые кровью глаза, взвыл отчаянно и забарахтался, забился в топкой грязи.

– Ну-ну, тихо, – беззвучно просил его Демьян. – Не успею же.

Чем сильнее вырывался из болотины щенок, тем глубже в ней увязал. Давно, в волчьи свои годы, Демьян сумел бы успокоить его одним утробным рыком. Но рот давно забыл, как бывал звериной пастью. Оставалось ползти.

Волчонок проваливался с головой, выныривал, клацал зубами, хватал воздух и снова уходил в топь. Демьян бросил тело вперед, потянулся, пальцы нащупали мокрую шкуру, вцепились в скользкий мех. Оставалось потянуть на себя так, чтобы тельце выскочило из болотины, как пробка из горлышка бутылки.

Кутенок, окоченевший от страха и холода, забился отчаянно, но Демьян держал крепко. Мышцы ныли от напряжения, нужно было сжаться в пружину, всю силу отдать в руку, всю кровь пустить туда, всю злость на болото.

Раз. Демьян глубоко вдохнул. Два. Выдохнул. Из нутра прорвался позабытый рык. Три. Острая боль пронзила заледеневшую в топи ладонь. Тваринные мелкие зубки впились в человеческую плоть, чтобы отвоевать добычу. Добыча с писком рванула наружу. Страх перед шишигой оказался сильнее болотного. Мокрый волчонок пронесся мимо распластанного Демьяна. Но оставшаяся без ужина шишига и не собиралась разжимать челюсти.

Забыв про болотину, Демьян вскочил на ноги, тут же увяз до колена, но не заметил этого. На вырванной из топи руке повисла мелкая тварь. Круглые водянистые глаза смотрели нагло и голодно. Мелкая тварь человека не боится. А Хозяина в нем она не почуяла. Как почуешь, если самозванец он, без кинжала и Батюшкиного одобрения?

Сломать тонкую шею оказалось проще, чем переломить сучок. Демьян размахнулся и с силой ударил повисшей на руке тварью по камням, наваленным с краю болотины. Шишига пискнула, задергала лапками – каждая гнулась во все стороны, каждая заканчивалась пятью длинными пальцами с острыми когтями – и затихла. Потянуло мутной пленкой водянистые глаза. Обвисли кожистые складки на пузе. Разжались цепкие челюсти.

Демьян с отвращением отбросил от себя мертвое существо. Из прокушенной ладони к запястью потекла кровь, смешалась с болотной гнилью. Дему замутило, даже ноги стали мягкими. Так-то тебе, Хозяин леса, получи заражение. Самое простое, банальное заражение крови. И сдохнешь ты от него, как все остальные. Как те безумцы, которых Батюшка вел на заклание к озеру. Сдохнешь. От укуса мелкой шишиги. Смешно! Чего же ты не смеешься?..

От боли и отвращения хотелось выть. От холода и сырости – плакать. Демьян рванул промокший край рубашки, кое-как обвязал руку. Боли он не чувствовал, тяжесть одну.

Когда за спиной раздался сухой кашляющий смех, он позволил себе зажмуриться. На одну секунду. Просто чтобы проверить: может, все это сон? Может, на самом деле он лежит сейчас в общажной комнатухе. А Катерина – теплая со сна, с тяжелой грудью и мягкими бедрами – спит рядом, прижимается к нему своей наготой. Может, нет никакого леса.

Смех сменился утробным рыком. Демьян открыл глаза. Рык повторился. Либо у Кати тяжелый бронхит, либо за спиной его готовится к прыжку волк, пришедший мстить за перепуганного детеныша.

– Не смотри зверю в глаза, пока сам зверем не станешь, – страдала Аксинья, готовя густой отвар, а дым поднимался от котелка строго вверх, как нарисованный.

Они стояли на влажной траве лобной поляны. Рассвет только пробился через низкие тучи, было холодно, и Демьян сдерживал озноб. Матушка босиком прошлась по холодной земле и поглядела на сына с презрением. Огонь лениво согревал воду, травы, любовно разложенные на чистом холсте, лежали рядом, Матушка медленно опустила на колени, глянула коротко, Демьян рухнул, где стоял, больно отбив левую косточку.

Сколько ему тогда было? Двенадцать? Четырнадцать? Лес принимал его с неохотой, тетка Поляша посматривала с интересом. Матушка копила злобу, Батюшка – равнодушие. Пришло время становиться зверем, коль наследником стать не вышло.

Аксинья перетерла в пальцах толстобокые листья купены, бросила в воду, следом опустили в кипяток стрелка люпина и пригоршня маслянистых волчьих ягод. Демьян провожал каждую напряженным взглядом. Отвар булькал, расходился кругами. Аксинья склонилась над ним, зашептала беззвучно. Слова лесного наговора успокоили воду, и та послушно окрасилась нежно-розовым, рассветным соком ягод. Демьян затрясся сильнее.

Матушка зачерпнула отвар глиняной плошкой, шероховатой и неровной – привезенный из города скарб она не принимала, – и протянула Деме.

– Пей, – одними губами приказала она.

Нужно было размахнуться и ударить ее по запястью, чтобы плошка выпала из злых пальцев, чтобы ядовитое зелье пролилось в траву. Но Демьян послушно принял питье, даже поклонился, кажется. И все никак не мог отвести взгляда от стальных материнских глаз.

– Пей до конца. До последней капли пей, – зашептала она. – Станешь зверем сильным, могучим станешь, будет тебя бояться тварь лесная, тварь болотная, человечья тварь. Будешь ты зверем. Будешь волком. Пей, пей скорее.

Демьян почувствовал только, как первый глоток свел зубы невыносимой горечью, раскаленной спицей ввинтился в горло, прожег насквозь. А дальше все утонуло в багровом тумане.

Свою первую ночь в шкуре перевертыша Демьян не запомнил. Кажется, бежал куда-то, до смерти испуганный. Скулил, выл, метил пышнобокие кусты. Вывалился к дому на следующее утро. Потный, голый, пылающий жаром. Его долго рвало у крыльца не прожеванной толком бельчатинной, кровью и травой. Поляша гладила по голове, перебирала жалкие сосульки волос.

– Волчонок мой, зверенок, – повторяла она.

А Демьян спал. Никогда еще не был он так счастлив. И никогда уже таким ему не бывать. Долгими ночами в общаге он все пытался воскресить в памяти запахи, звуки, прикосновения. Ничего не осталось. Только холодные пальцы на раскаленном лбу. И голос – нежный и жалостливый.

– Волчонок мой, зверенок.

Давно уже нет того зверенка, канул в небытие волчонок. Остался один Демьян, неуместно городской, укушенный болотной шишигой, и волк – настоящий зверь, серый, с пропалинами на впалых боках, с поднятой в ярости холкой. Настоящий боец, воин бесконечных схваток с лесом и болотиной. Вон шрам через всю морду и ухо перебитое порвано.

Воздух застрял в горле, Демьян с трудом слотнул, внутри него забрезжила надежда.

Ухо. Рваное ухо. Кутенком еще рванулся из материнской пасти и порвал. Друг сердечный. Смешной волчок. Тащил его из пруда, лаял смехом. Рваное Ухо. Не может быть. Сколько лет? Не живут столько в чаще драчливые волки.

Но по внезапному наитию Демьян узнал его – старого товарища. Подался вперед, улыбнулся даже. Волк припал к земле, зарычал утробно и низко. Позади него, спрятавшись за кустом бузины, жалобно скулил щенок. Демьян попятился, прижался спиной к перекореженному стволу безымянного дерева. Силы в нем не было, не выпить ее, чтобы встать в полный рост, шелкнуть пальцами, прогоняя зверя. Сам увяз, сам и выбирайся.

Если бы можно было перекинуться в волка. Если бы это хоть когда-нибудь получалось на самом деле. Не странным мороком обпитого отравой рассудка, а шкурой на звериной плоти. Смутные обрывки долгих ночей в волчьей стае, когда человеческое отступало, давая место звериному, невозможно было прокрутить в памяти. Но Демьян знал твердо: в волка он не перекидывался. Только начинал походить на него – силой рук и ног, крепостью зубов, твердостью шкуры. Что-то менялось в нем, оставляя обличие прежним, и волки чуяли в нем своего.

Плошка травяного питья. Три полных глотка отвара волчьей ягоды да звериной травы. Много ли, мало ли? Наговор ли Матушки? Вера ли в его непреложную силу?

– Я – волк, – чуть шевеля губами, проговорил Демьян, глядя в залитые яростью глаза настоящего волка. – Я твой брат. Мы росли в одной стае. А потом я ушел, должен был. Но остался волком. Остался братом. Стаей остался. Я – волк.

Зверь перед ним оскалился, завозился, подыскивая опору, чтобы броситься на чужака.

– Я спас твоего щенка. Как волк спасает волка. Я – волк. Волк – я. Свой. Свой, не рычи. Свой я.

Мутная слюна капала с клыков на траву. Зверь ничего уже не видел, ничего не слышал. За ним испуганно возился кутенок.

– Я – волк, – сказал щенку Демьян, заставляя голос потеплеть. – Я спас тебя от твари. Я – волк. Я пришел, я спас. Как волк волка.

Кутенок выглянул из куста, только черные глазки блеснули влажно и настороженно.

– Подойди сюда, – позвал его Демьян. – Братья, верно? Как волк с волком.

Щенок послушно выкатился из бузины, взлохмаченный и мокрый, он больше не скулил, только хвост прижимал к лапам. Зверь покосился на него, повел носом.

– Твой щенок. Я спас его. Ты не спас, а я спас. Как волк волка.

Кутенок обошел отца стороной, приблизился к Деме, задрал тяжелую голову, посмотрел без страха.

– Большой. Храбрый. Вожаком станешь, – похвалил Демьян, с трудом отлепил спину от дерева.

Зверь дернулся к нему, но не прыгнул. Губа медленно накрыла зубы. Он втянул воздух, помотал головой, будто сам не верил, что человеческим духом над болотиной больше не пахнет. Загрибок опустил, пригладился. Волк смотрел на Дему, не отрывая умных глаз.

– Узнал, стервец? – сдерживая облегчение, спросил Демьян.

Рваное Ухо фыркнул, подошел ближе, наклонил голову и подставил лоб под руку. Демьян осторожно прикоснулся к влажной шерсти. Опасный зверь оставался опасным зверем, даже если принял тебя за своего.

– Паршивец, вон какой стал... – бормотал Демьян, зарываясь пальцами в серый мех. – Заматерел! Вожак небось, а?

Волк утробно ворчал, уже не опасно, так, для виду. Щурил глаза, дышал глубоко и часто, впалые бока облепляли ребра. Вспоминал. Голодные годы пролегли между прощанием и встречей. Пока один просиживал штаны на парах, второй клыками вырывал у засыпающего леса право жить. Вина полоснула Дему наотмашь. Захотелось прижаться к побитому жизнью боку старого товарища, облапать его могучую шею, вдохнуть песий дух и рассказать ему все, что успело приключиться. Но Рваное Ухо не был настроен на долгие беседы. Он попятился, задрал голову и вцепился в Дему тяжелым взглядом. У его лап возился позабывший все тревоги волчонок. Но большой зверь ничего не забыл, в его глазах читалось настороженное ожидание. Мол, вот он ты – человек-не-человек, носитель большой мудрости, наследник большой силы. А вот он я – волк, вожак, житель леса. А вокруг нас болото чавкает. Так, может, скажешь мне, кто виноват в том? И что с этим, брат мой, ты будешь делать? Перебитое, разодранное ухо повисло серым лоскутком, но второе подрагивало от нетерпения.

– Послушай, – начал Демьян, сам не зная, что хочет сказать. – Батюшка мой... Хозяин леса. Умер он.

Волк нетерпеливо повел головой, мол, знаем-слышали. Ни тебе сочувствия, ни скорби. Сложно давить на жалость, когда перед тобой вожак волчьей стаи и про жалость ему известно немного. А что известно, то не по твою честь.

– Я вернулся. Помнишь, как уходил? – Голос дрогнул, волк недовольно зарычал.

Тихо-тихо, драная ты ворона, расплачься еще перед ним. Вспомни, как шумел лес, как вторил он последние стоны Поляши, как судорогой свело тонкокожие березовые стволы, как вмиг пожухли и опали листья их и сережки. Вспомни, как побежал через чашу, не разбирая дороги, а Рваное Ухо – молодой еще, поджарый волк – неся рядом до границы родовой поляны, стремительный, словно серая тень, ловил твой взгляд, тряс головой, не зная, как помочь другу, не ведая, что ничем уже не поможешь. Поздно. Свершилось все. Увековечилось.

Демьян сглотнул, прочистил горло, волк смотрел внимательно и цепко. Выжидал.

– Я уходил, но теперь вернулся. Хозяином. Чуешь?

Рваное Ухо втянул воздух. Верхняя губа приподнялась над зубами, но рычать не стал. Что-то он почуял, но не Хозяина.

– Вещица одна. Важная. Потерял. – Демьян старался говорить короткими, емкими фразами, чтобы зверь понимал их, и сам дивился, насколько яснее становилось случившееся.

Мир людей полон слов. Длинных, избыточных и пустых. Люди говорят – постоянно, без продыху. Лепечут, восклицают. Лгут. Придумывают и надумывают. Сочиняют небылицы, отрицают истину. Сокрушаются. Нагнетают. Шепчут, кричат, бормочут вполголоса, шипят сквозь зубы, не шевеля губами, захлебываются речью и цедят ее тяжелыми каплями. Они облекают в слова все, до чего дотягивается воспаленный вечной их болтовней рассудок. Горе, страх, зависть, надежда, страсть. Все имеет название и тысячу определений. Люди спорят, люди скандалят, люди рассказывают о спорах и скандалах другим людям. Мир полнится словами. Сам мир стал клубком слов. Сами люди и все, из чего они состоят, – слова, одни только лишь слова.

У зверей все не так, зверь вычленяет суть безмолвно. Чует главное. Страхивает шелуху, как сор с косматой шубы. Ты говоришь волку: беда. И он понимает: нужна помощь. Ты говоришь: потерял. И волк кивает тебе: мол, я готов искать.

– Кинжал, – медленно произнес Демьян. – Старый. Хозяина. В болотах выпал. – Развел руками.

Рваное Ухо презрительно чихнул. А я тебе что, пес шелудивый? Сам обронил, сам теперь и майся. Но тут же оскалился насмешливо, вытянул передние лапы, прижал к ним морду,глянул с интересом: мол, чего стоишь, пошли искать.

– Далеко. Не здесь, – Демьян махнул в сторону. – Не знаю где. Мертвая знает.

Веселье в глазах волка тут же потухло. Теперь он смотрел на Дему с холодной злобой.

– Помню-помню, не любишь их. Помню.

Зверь утробно зарычал, волчонок шлепнулся на землю, прижался к отцовской лапе. Рваное Ухо попятился, уводя щенка за собой.

– Она своя, – поспешил объяснить Демьян. – Не тронет. Скажет, где кинжал. Помоги ее найти.

Волк продолжал пятиться, шкура на загривке снова приподнялась, но топорщилась не устрашающе, а жалко. Бесстрашный товарищ Демьяна, теперь он не спешил бросаться в погоню. Рык то и дело срывался на собачий скулеж, влажные каштаны глаз смотрели загнанно. Что успело стрястись с тобой, вожак волчьей стаи, кого видел ты в глухой болотине, кого потерял там? Уж не себя ли прежнего?

Демьян нутром чуял, что следует уйти с дороги старого друга. Отпустить его восвояси вместе со щенком. Но бледные губы Матушки нашептывали прямо на ухо, что кинжал нужно найти. И любое средство в его поисках хорошо. Бросить кинжал означало сдать болоту лес и всех его жителей. Рваное Ухо сдать. Сына его толстолапого. Сдать, похоронить в жиже. Это ли милосердие, которое глупо искать в лесу, тем более в том, что засыпает? Это ли справедливость?

– Я сына твоего спас. В болото нырнул, – глухо проговорил Демьян, решаясь. – Слышишь, пес блохастый, ты мне должен.

Рваное Ухо зарычал, оголил зубы, налитые кровью глаза вцепились в Дему, могли бы – разорвали. Демьян не шелохнулся. Сердце забилося в нем подстреленной уткой, но сам он остался стоять, смотреть требовательно, кривить губы в усмешке победителя, взявшего, что вздумалось, по праву сильного. Будто не хорек мокрый, а Хозяин.

– Пойдем, – безразличным голосом приказал Демьян.

Волк коротко рыкнул, наклонился и схватил щенка за шкуру, затряс его, затрепал. Тот пронзительно заверещал. Рваное Ухо поставил его на землю, облизал перепуганную мордочку: ничего, мол, ничего, запо- мни отцовскую силу, запомни, как висел в его зубах, под его защитой. В горле засвербело, Демьян отвернулся. Пусть прощается – кто знает, свидятся ли? С ним отец не простился, так пусть с щенком этим не так сложится, а иначе. Как должно.

За спиной раздался сдавленный скулеж, потом рык, не опасный, а горький, и зачавкала грязь, затрепали ветки бузины. Демьян глянул через плечо, серый щенячий хвост мелькнул в переплетении веток. Рваное Ухо коротко твякнул, склонился над влажным мхом. Демьян даже дыхание задержал, чтобы не спугнуть. Волк припал к земле, зарылся носом в ее влажное нутро, замер, задышал. Потом поднялся, отряхнулся. Бросил на Демьяна нетерпеливый взгляд: пошли, мол, сам подгонял. И сорвался с места.

...Они бежали по дну оврага, перепрыгивая через коряги, пролетая мимо колючих зарослей и перекореженного бурелома. Демьян то и дело проваливался в канавки, наполненные густой грязью и холодной водой, чертыхался, но не останавливался. Рваное Ухо точно знал, куда бежит. Даже хвост подрагивал от нетерпения. След вел его по оврагу, уходя в сторону от топи, – значит, Поляша была тут, да вовремя свернула. Значит, ногами человеческими шла, а не



тварью болотной ползла в трясине. И то хлеб. С человеком договориться можно, а с тварью один разговор – кинжал. А кинжала нет.

Волк выскочил на сухую возвышенность – здесь овраг начал мелеть, дно сузилось, его обступили крутые склоны, – глянул на Демьяна вопросительно: мол, не отстал, человеческий потрох?

– Не отстал, потрох волчий, не отстал.

Демьян попытался улыбнуться, но вспомнил, как похожа его улыбка на оскал, и только сухо кивнул. Рваное Ухо фыркнуло, снова склонился к земле, выискивая след. Над оврагом занималось утро. Холодные лучи нехотя достигали дна, воздух оставался стылым и влажным. Он облеплял кожу лапами тумана, пропитывал и без того сырую рубаху, оседал на волосах белым налетом росы. Не был бы Демьян привычным – простыл, а тут только отряхнулся разок-другой, внутри разгорался жар погони. Еще немного – и настигнут.

– Где кинжал, гадина? – зарычит Демьян в мертвое лицо, а волк оскалит клыки. – Разорву!

Рваное Ухо, будто мысли услышал, оторвался от земли. На перемазанной морде застыло удивление. Он будто учуял что-то невозможное. Немыслимое. Не существующее на самом деле. Страх пронесся вверх по позвоночнику, Демьян подался вперед, развел руки: мол, что? Говори. Если бы волк мог, сказал бы. Но Демьян уже и сам расслышал. Сухой стук разносился по рассветному лесу. Знакомый, хоть и не слышанный ни разу. Лес берег до этого утра.

Стук-стук. Обглоданные косточки бьются на ходу.

– Батюшка твой охраняет лес, – говорила Глаша. – От болота да гнили его. От мавок, от лявр, от зазавок тухлых да огоньков, мелкой твари всякой.

– А еще от кого? – затаив дыхание от сладкого страха, спрашивал Демьян, а Фекла шикала на него, округляла глаза.

– От смерти самой, – грозно хмурилась тетка. – От гнили, морози, от воды проклятой, от топи жадной. Коли придет она в лес, разрастется, как язва, так с нею любая гадина велика. А самая большая – одноглазая. Лихом зовется. – Тут Глаша дула на свечу, свет гас, Фекла вскрикивала. – Как услышишь стук косточек в лесу, беги что есть мочи.

Стук-стук. Рваное Ухо заскулил, прижал хвост, присел на задние лапы. Стук-стук. Демьяну отчаянно захотелось домой. Под защиту стен и крыши, в сухое тепло, к свету. К жизни. Стук-стук. Лихо одноглазое шло по бурелому. Ближе, все ближе. Рваное Ухо рванул с места, когда Демьян только решал, где прятаться. Заплетая между деревьями, серой тенью унесся далеко вперед. Звериное чутье вело его прочь, и Демьян поспешил следом.

Стук-стук. Лихо настигало их сразу со всех сторон. Казалось, косточки бьются прямо над ухом. На бегу Демьян не успевал вертеть головой, тут бы под ноги посмотреть, чтобы коряга какая не подвернулась, и от этого становилось еще страшнее. Из-за любого куста могла протянуться костлявая рука, прозрачные лохмы могли упасть сверху, как паутина, а из-за веток мелькало что-то жуткое, блестящее – то ли отблеск рассветных лучей, то ли око в воспаленной глазнице.

Око одинокое. Око одинокое. Око одинокое. Глупая считалка тут же застряла в голове, забилась пульсом в ушах, заполнила собою все мысли. Око одинокое. Лихо одноглазое. Стук-стук. Око одноглазое. Лихо одинокое. Стук-стук.

Демьян с ошеломляющей ясностью понял, что сходит с ума. А где-то далеко, в жизни, которой и не было, тетка Глаша шепчет ему, как лишает рассудка жертв своих Лихо. Выпивает радости, умножает горести, отравляет память. Пробирается в мысли.

– Беги от него, Демушка, не давай на себя смотреть, трогать не давай, даже рядом стоять. Беги. Нет на него управы.

Вот Демьян и бежал, не разбирая дороги, за серой тенью волка, петляющего между поваленными корягами далеко впереди.

– Совсем нет? – храбрится Демьян, глупый щенок.

– Подобраться поближе да выколоть глаз!.. – Глаша смотрит ласково, гладит теплой ладонью по макушке. – Только как подойдешь, если не подпустит?

Стук раздался совсем близко, за спиной. Демьян обернулся за высохшей у голой кроны, но сгнившей у корней осины мелькнуло что-то серое. Ноги тут же запутались сами об себя, и Демьян полетел вперед, крик застрял в горле. Он выскочил из бурелома – ветки больно хлестнули по лицу – и повалился на землю, сбивая ладони.

Кто-то вскрикнул, лязгнуло вырванным из ножен лезвием, пахло затоптанным костром. Демьян с трудом оторвал пудовую голову, поднял глаза, моргнул раз-другой, чтобы размытая картинка соединилась в одну, и тут же решил, что разума уже лишился.

На узкой поляне, разделенной упавшим деревом, топтались перепуганные люди. Два незнакомца в нелепо натянутых звериных шкурах и два знакома – брат младший да тетка мертвая. Смех шевельнулся в груди, почти вырвался. Столько бежал без дороги, а гляди-ка – пришел куда следовало. Вот так встреча. Вот так удача.

Стук-стук. Обглоданные кости шелкнули еще раз, и воцарилась тишина. Лихо одноглазое шло по лесу. Лихо одноглазое чуяло страх людской, мясо человечье. Лихо одноглазое пришло. Становись в очередь, кто первый к нему на убой?

Поляша тихонько вскрикнула, зажала перекосившийся рот рукой. Лежка, бледный, будто уже покойник, задрожал так сильно, что видно было, как трясется промокшая рубаха. Незнакомцы попятились, синхронно, будто сговориться решили, да только не убежать от Лиха, не скрыться. Демьян приподнялся на руках, одеревеневший от холода и страха, он почти ничего не чувствовал, огляделся только, нет ли Рваного Уха рядом. Но волк молодец, сумел унести лапы. Беги, старый друг, спасай свою битую шкуру.

Демьян тряхнул головой, прогоняя лишние мысли. Поля перевела на него невидящий взгляд. Моргнула. Уставилась, не веря глазам. Демьян заставил окоченевшие губы скривиться в ухмылке: мол, где наша не пропадала. Даже подмигнул ей. А потом костлявая рука, бесплотная, но ослепительно холодная, схватила его за плечо и одним рывком перевернула с живота на спину.

Мир сделал кувырок. Вот Демьян смотрел на Поляшу – бледная до синевы, перемазанная гнилью, но невыносимо знакомая, – а вот над ним одно только небо, синее, равнодушное и холодное, чешет бока об сухие ветки, устремленные в него. Демьян успел даже подумать, что, кажется, где-то читал о нем – высоком небе, тихом и торжественном, равнодушном к людской смерти. Подумать успел, а вспомнить – нет. Небо тут же заслонила бесформенная серость, морда – не человечья, но и не звериная. Ее грубые черты, будто выцарапанные на камне, менялись, смешивались, перекручивались, не разглядеть их. Только глаз – круглый, выпученный из красной глазницы, смотрел цепко и ясно. Не мигая. Равнодушно, но голодно. Мертво, но яростно.

«Око одинокое», – подумал Демьян, и все исчезло.

...Это снова происходило с ним. Болотная хмарь, серая, как пыльное полотно, опустилась на мир, заслонила Демьяна от всего живого. Он чувствовал на себе затхлое дыхание твари, знал, что та цепко держит его, вглядывается единственным глазом, тянет силу, выжимает до последней капли.

Но полотно глушило страх и лишало воли. Лежать в ожидании конца оказалось удивительно легко. Демьян позволил себе расслабить нывшие жилы, напоследок изумился даже, как это смог вырасти таким сильным и большим.

Его же не любили. Ни те, кто должен был по причине родства, ни те, кто мог бы, да не стал. Матушка, выпустившая его из утробы в мир. Разве любила она?

И тут же вспомнилось, как гнали ее родные руки в лес. А он цеплялся, прятал исхлестанное лицо ей в подол, пропахший горькими травами, плакал и боялся своих слез.

– Не смей! – кричала Матушка. – Не смей мокроту разводить, нюня!

И снова удар – хлесткой ладонью, жесткой, иссушенной, не знающей отдыха. И слезы, горячие слезы на пылающих щеках. А потом холод леса, голод ночи, страх остаться там на веки вечные.

– Ты наследник! – твердила Матушка. – Тот самый сын.

Но лес не отзывался, не оживал под пальцами. И осинки не дрожали от его прикосновений. И молчал в глубине чащи ток, и сворачивал в сторону молодой ручей. Демьян засыпал от усталости, просыпался от озноба. Возвращался домой ни с чем. Ни с чем. Мать ждала на пороге, смотрела мимо, уходила к себе. И не любила, никогда не любила. Потому что не тот он сын. Не тот самый. Не наследник.

А кто же тогда любил? Вторая? Та, что по глупости была названа теткой? Поляша? Юное тело, горячее, жадное. Одиночество, невозможность принять все эти правила, все эти истины. Как нежно розовели мочки ее крохотных ушек, какими узкими становились коридоры в доме, как невыносимо душили ночи. Как рвалось к ней сердце, как мучилось тело.

– Не ходи ко мне, – звала она, а шепот срывался. – Не надо, Демочка.

И он клялся не идти, клялся, но шел. Выбирался из раскаленной постели, путался в обмякших ногах, вываливался из дома, становился под ее окном, бросал камушек. Окно распахивалось за миг до того, как тот достигал цели.

– Уходи, – звала она. – Не надо, – не просила уже, умоляла.

Демьян хватался за откос, подтягивался на дрожащих руках, ночной ветер охлаждал промокшую от пота рубашку. Поля стягивала ее, бранилась сквозь зубы нелестными, непривычными словами, но он не слушал. Рвался к ней, как утопающий к глотку воздуха. Изнемогал, погибал под ней. На ней. Снова под. И когда мир вспыхивал, испепеляя все сущее, одной-единственной секундой насыщения, Демьян точно знал, что все закончилось только для того, чтобы начаться заново. Этой ли ночью. Следующей ли. Прямо сейчас ли. Потом. И никак иначе.

– Мой, – шептала ему в плечо Поляша. – Волчонок мой, зверенок.

– Давай убежим, – просил он ее, поскуливая от нетерпения.

– Куда? – спрашивала она с детским восторгом. – Далеко-далеко?

Далеко-далеко. За лес, за овраг, за лещину с бором. В край, где нет леса и его Хозяина, где молодость сильнее правил, важнее, главнее. Туда, где каждый сам себе закон.

– Давай убежим, – соглашалась Поля. – Вот закончится лето, и убежим.

Чего ждала? Уж не сына ли, который занялся в ней? Истинный сын. Тот самый.

– Мой? – только и спросил Демьян, когда мягкость белого ее живота сменилась наполненным ожиданием.

А она ничего не ответила, окошко закрыла только. И никогда больше. Никогда не открывала. А он камешков не бросал. Так любила ли она? Любила?

А если и да, то тебя ли, волчий ты потрох?

Или та, из города. Она, что ль, твоя была? Тебе отданная, тебе преданная? Чего хотела? Чего искала? Покоя, тишины, женского, людского. Обуздать, посадить на цепь, чтобы дом стерег, чтобы руки лизал.

– Вот сессию закроем и поедем к моим, – говорила она между делом. – Там сад, яблоньки старые совсем, попилить бы. Попилишь?

Ложка с густым супом застревала во рту. Говяжий дух щекотал нос. Нужно было встать, опрокинуть стол, показать глупой бабе, кто тут волк. Ощериться, зарычать. Но суп был горячим, наваристым, пах покоем, тишиной, женским, людским. И цепь ладно опускалась на шею, тянуло стеречь, скулить, облизывать руки, что суп этот подали.

– Может, и поедем, – бурчал Демьян, разгрызая мозговую косточку, щурясь от сладости и мясного жара. – Может, и попилим.

Так любила ли она? Так нужен ли был ей волк, или пса дворового она приручала? Так кто же тебя любил, воробей ты пуганый, ни волка в тебе, ни наследника, ни пса. Тебя?

Демьян заворочался, прогоняя дурные мысли. Полотно облепило его серой ватой. Дышать стало тяжело. Но чей-то шепот не давал окончательно провалиться в небытие. Мучил, терзал.

– Кто любил тебя, Демьян? Кто ценил? Кому нужен ты был?

Батюшке? Были бы силы, Демьян бы расхохотался. Уж точно нет. Тетке Глаше? У нее своих детей для любви достаточно. Брату? Не приручил его Демьян, не хватило времени. Желания не хватило. Надобности. Сестрам? Может. Так обеих не уберег.

– Нет на свете ни одной души, что твою бы своей назвала... – Шепот раздавался откуда-то изнутри, будто сам Демьян говорил себе это, доказывал, уверял, будто сам в том еще сомневался. – Даже волчий твой товарищ, и тот сбежал.

На границе затухающего сознания всколыхнулась обида. Рваное Ухо, брат названный, к щенку своему побежал, а друга старого в беде бросил.

– Так кто же тебя любил, волчий ты потрох? – глумливо шепнуло из серости.

– Никто, – ответил ему Демьян.

Сердце сжалось, дернулось судорожно, а разжаться не смогло. В груди разлился ледяной огонь. Ни вдохнуть, ни дернуться.

– Никто тебя не любил. – Шепот пригвоздил Дему к полотну, связал им, скрутил. – Никто. – Демьян задыхался. – Никогда. – Последние силы покидали его. – Тебя. – Так глупо было умирать, так не вовремя. – Не...

Полотно вдруг натянулось, пошло рябью. Что-то серое, как хмарь, но живое и сильное прорезало кокон, стиснувший Демину грудь. В пылающие легкие хлынул влажный воздух болотины. Никогда еще он не был так сладок. Захлебнувшись, Демьян перевернулся на живот, кашель рвал горло, но в тело возвращалась жизнь. Пусть никто никогда его не любил. Но пока он жив, это можно исправить.

## Поляша

Стучало сразу со всех сторон. То справа стукнет, разнесется по бурелому глухим щелчком, то слева – будто шишка упала на твердое, только глуше. Стук-стук. С неба стукнет, из-под земли ответит. Знать, идет по лесу Лихо одноглазое. Беги – не беги, а висеть твоим косточкам на шее его. Стучать сразу со всех сторон.

Поляша подхватила подол и рванула к зарослям бузины – не спасет, так защитит, не защитит, так укроет. Онемевшие от холода и злой земли ступни заскользили по рыхлости. А на вытоптанной полянке сустились неразумные дети. Кабаниха пыхтела, размахивала коротким кинжалом, бросалась на каждый стук, крутилась бесцельно, теряя силы, храбрилась, а сама бледная в синеву. Товарки ее – одна в волчьей шкуре, другая с рогами оленьими – сразу потеряли лесной вид, стушевались, схватились друг за друга, обвились руками, еще чуть – и обернутся березками. Вот это бы помогло, это да. А стоять, ловить каждый стук да обмирать от ужаса? Так шкуру свою не спасешь.

– Прячься, – зашипела Поляша, кидаясь к Лежке.

Клятва защищать его жгла злее лесной земли. Мальчишка не пошевелился, продолжал стоять, стиснув в окаменелых руках мешок, помнящий еще запах дома.

– Прячься, кому говорю!.. – повторила Поля, зная, что в третий раз говорить не станет.

Перед единственным глазом Лиха все равны. Дважды совета не послушал, так помирай, пусть хранить тебя клялись хоть на крови, хоть на болотной жиже. Пробегая мимо, Поляша с силой толкнула мальчишку в плечо, тот пошатнулся, глянул на нее ошалело, не узнавая.

Не жилец, поняла Поля и даже удивилась внезапному уколу жалости. Но все мельком, все спасая шкуру свою человечью. Если в ней убьют, никакая лебяжья стать не спасет.

Тут в ветках захрустело, и мертвое сердце в Поле заколотилось с утроенной силой. Идет, идет проклятое! Почуяло их. Не сбежать от него, коли увидит. Подберется ближе, за руку схватит, притянет к себе, поглядит единственным своим глазом прямо в душу, выпытает, что болит в ней сильнее прочего, надавит, забьешься ты, как заяц в силках, замучаешь сам себя горюшком, что Лихо тебе нашепчет, а оно пока всю жизнь из тебя выпьет. Говорят, выколешь глаз ему, так оно в чашу убежит, а тебя бросит. Да как тут выколоть, если в душу смотрит и всю чернь в ней, изъян каждый наружу выворачивает?

Только нечего было Лиху ей сказать. Все Поляша и сама знала. Сына не уберегла! Батюшку предала! Мальчонку в себя влюбила, попользовалась себе в услужение да бросила! Сестер ненавидела люто! Детей общих за уши таскала! А как померла, так о спасителе своем не как о Хозяине озерном мечтала – как о супружнике, ненасытная утроба! Мертвячка, а не берегиня. Сука течная, а не лебедица.

Поля застыла у трясущихся зарослей, Лихо рвалось сквозь них, а она все никак не могла с места сдвинуться.

Мальчонку влюбила! Батюшку бросила! Детей чужих не приняла! А своего не сумела защитить! Сука мертвая! Болотная тварь! Приходи Лихо, отведай нутра моего прогневшего. Сжался, выжри душу мне, высоси то, что вместо жизни дано было, не в дар – в наказание.

Лихо подобралось совсем близко. Мелькнуло между согнутых веток, зашумело, ломая сухостой, и вывалилось на поляну. Все застыло. Время, воздух, течение жизни. Не дышалось, не боялось. Не было ничему.

Лихо, обряженное в мокрую рубаху, заворочалось на земле, приподняло всколоченную голову и посмотрело на Полю знакомыми глазами. Волчьими, человеческими, любимыми когда-то. Так давно, что и не вспомнить.

– Демьян! – почти вырвалось из груди, но Поля подавила его именем, вцепилась зубами в кулак, чтобы не закричать.

Демьян зверино оскалился ей, оттолкнулся от земли руками, встал почти. Но в буреломе завывала, застучала и вырвалась на свет сама серость, сама жуть. То ли в сосну ростом, то ли в человека малого, широкое, как лес, узкое, как ствол березовый, с руками длинными, с ногами сильными, с глазом единственным на уродливой морде, Лихо схватило Дему, зверенка Полиного, волчонка, потащило к себе завывая как резаное, и не было тому конца, и не было тому начала. Ничего не было. Только ужас, серость и скорбь.

Нужно было сделать что-то. Хоть что-то сделать. Лишь бы не смотреть, как трясется в костлявых лапищах сильное тело, обращается в пыль и тлен. Только ноги приросли к земле, от страха та перестала рвать неживые ступни – все едины перед невозможностью принять, что, кроме живого и мертвого, есть еще твариное, жадное до чужого тепла.

На краю мира, где истуканом застыл перепуганный Лежка, промелькнуло что-то, но Поля не оглянулась, не мог мальчишка броситься на Лихо – слаб скелет, мягка воля. Не на кого опереться, некого попросить: помоги, мол, друг сердечный, прогони Лихо, выколи глаз, пока оно Демьяна не выпило. Сама. Все сама. Берегиней назвалась, так сбереги.

Палка. Нужен острый сук. Подбежать, пока тварь лакомится, броситься к ней, зацепить острием, не получится выколоть, хоть поцарапать бы око его одинокое. Сухие ветки валялись под ногами, но как наклониться, как подобрать? Как глаза отвести от волчонка своего, если вот он – погибает в двух шагах? Вдруг исчезнет? Поля опустилась к земле, вслепую принялась ощупывать перед собой. Сухие палки, тонкие ветки, а нужен сук, острый и крепкий, чтобы насквозь проклятое Лихо продырявил, ослепил гадину.

– Спящий мой Хозяин, – зашептала Поля, отбрасывая в сторону сор и палую хвою. – Пошли мне в помощь силу свою. И острый сук.

Никогда еще она не обращалась к нему в человеческом теле. Знала, что не ответит, но не лесу же молиться, когда земля лесная тебя терзает, гонит прочь? Только далекий и озерный защитит. Если услышит. Если примет ее мертвячкой, а не лебедицей своей.

Демьян застонал, изогнулся в костлявых лапах, волосы упали со лба, и Поля разглядела, как посерел он. Миг для него тянулся годом, Лихо терзало душу, сушило тело, а Поля все не могла нащупать проклятую палку.

– Помоги, – взмолилась она. – Если ты есть, помоги.

Кто-то вскрикнул у нее за спиной, затрещали ветки. Косматое, яростное и рычащее выскочило из ниоткуда и бросилось вперед. Пока оно летело, раскидывая комья земли из-под могучих лап, не зверь, а стрела, весь – сила и прыжок, весь – полет и злоба, Поляша успела моргнуть, прогоняя натекающие слезы, склониться к земле и отыскать самую крепкую палку-рогатину, что валялась у ног, да, как назло, не попадалась под руку. Выставив ее перед собой, Поля ринулась вперед, но косматый зверь достиг цели первым.

Он обрушился на Лихо, вцепился в кость, что была тому правой рукой, дернул на себя и выдрал ее из плеча. Сухой треск разнесся по оврагу, посыпалась белесая труха. Лихо разжало уцелевшие пальцы, и Демьян рухнул на землю, как куль с мукой. Твари больше не было до него дела. Волк выпустил из зубов костлявую лапищу, опустил на нее свою мохнатую, ощерился, зарычал зло: мол, сюда иди, гадина, разговор наш с тобой не кончен. Лихо сделало шаг, щелкнули костяшки на его груди, сделало второй, вот-вот обернется да поспешит в бурелом, не вышло с этими, выйдет с другими, чего бодаться? Налитая кровью губа оголила клыки, мышцы заходили под толстой шкурой, волк замотал лобастой головой, подобрался и прыгнул. Время, собранное в пружину, рвануло вслед за ним.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.